

В.В.Розанов
АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

№ 1

К ЧИТАТЕЛЮ

Мною с 15 ноября будут печататься двухнедельные или ежемесячные выпуски под общим заголовком: “Апокалипсис нашего времени”. Заглавие, не требующее объяснения, ввиду событий, носящих не мнимо апокалипсический характер, но действительно апокалипсический характер. Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем, — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от бывшего христианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Всё потрясено, все потрясены. Все гибнут, всё гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания.

Выпуски будут выходить маленькими книжками.

Склад в книжном магазине М. С. Елова, Сергиев Посад, Московск. губ.

РАССЫПАННОЕ ЦАРСТВО

Филарет Святитель Московский был последний (не единственный ли?) великий иерарх Церкви Русской... “Был крестный ход в Москве. И вот все прошли, — архиереи, митрофорные иереи, купцы, народ; пронесли иконы, пронесли кресты, пронесли хоругви. Все кончилось, почти... И вот поодаль от последнего народа шел он. Это был Филарет”.

Так рассказывал мне один старый человек. И прибавил, указывая от полу — на крошечный рост Филарета:

— “И я всех забыл, все забыл: и как вижу сейчас — только его одного”.

Как и я “все забыл” в Московском университете. Но помню его глубокомысленную подпись под своим портретом в актовой зале.

Слова, выговоры его были разительны. Советы мудры (императору, властям). И весь он был великолепен.

Единственный...

Но что же “опреж того” и “потом”? — незаметное, дробно. “Мы их видели” (отчасти). *Nota bene*. Все сколько-нибудь выдающиеся были уже с “ересью потаенною”. Незаметно, безмолвно, но с ересью. Тогда — как Филарет был “во всем прав”.

Он даже Синод чтит. Был “сознательный синодал”. И Николая Павловича чтит — хотя от него же был “уволен в отпуск от Синода и не появлялся никогда там”. Тут — не в церкви, но в императорстве — уже совершился или совершался перелом, надлом. Как было великому Государю, и столь

консервативному, не соделать себе ближним советником величайший и тоже консервативный ум первого церковного светила за всю судьбу Русской Церкви?

Разошлись по мелочам. Прав этот бес Гоголь.

Между тем Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Гоголь, Филарет — какое осияние Царства. Но Николай хотел один сиять “со своим другом Вильгельмом-Фридрихом” которым-то. Это был плоский баран, запутавшийся в терновнике и уже приуготованный к закланию (династия).

И вот рушилось все, разом, царство и церковь. Попам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснее, чем царство. Царь выше духовенства. Он не ломался, не лгал. Но, видя, что народ и солдатчина так ужасно отреклись от него, так предали (ради гнусной распутинской истории), и тоже — дворянство (Родзянко), как и всегда фальшивое “представительство”, и тоже — и “господа купцы”, — написал просто, что, в сущности, он отрекается от такого подлого народа. И стал (в Царском) колоть лед. Это разумно, прекрасно и полномочно.

“Я человек хотя и маленький, но у меня тоже 32 ребра” (“Детский мир”).

Но Церковь? Этот-то Андрей Уфимский? Да и все. Раньше их было “32 иерея” с желанием “свободной церкви” “на канонах поставленной”. Но теперь все 33333... 2...2...2...2 иерея и под-иерея и сверх-иерея подскочили под социалиста. Под жида и не под жида; и стали вопиять, глаголать и сочинять, что “церковь Христова и всегда была, в сущности, социалистической” и что особенно она уж никогда не была монархической, а вот только Петр Великий “принудил нас лгать”.

Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая “Великого переселения народов”. Там была — эпоха, “два или три века”. Здесь — три дня, кажется даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Станным образом — буквально ничего.

Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 “и такой серьезный”, Новгородской губернии, выразился: “Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть”. Т. е. не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезать из его кожи ленточка за ленточкой.

И что ему царь сделал, этому “серьезному мужичку”.

Вот и Достоевский...

Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и “Война и мир”.

Что же, в сущности, произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает. Серьезен никто не был, и, в сущности, цари были серьезнее всех, так как даже Павел, при его способностях, еще “трудился” и был рыцарь. И, как это нередко случается, — “жертвою пал невинный”. Вечная история, и все сводится к Израилю и его тайнам. Но

оставим Израиля, сегодня дело до Руси. Мы, в сущности, играли в литературе. “Так хорошо написал”. И все дело было в том, что “хорошо написал”, а что “написал” — до этого никому дела не было. По *содержанию* литература русская есть такая мерзость, — такая мерзость бесстыдства и наглости, — как ни единая литература. В большом Царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленном, покорном, что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить — чтобы этот народ хотя научили гвоздь выковывать, серп исполнить, косу для косьбы сделать (“вывозим косы из Австрии”, — география). Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только, “как они любили” и “о чем разговаривали”. И все “разговаривали” и только “разговаривали”, и только “любили” и еще “любили”.

Никто не занялся тем (и я не читал в журналах ни одной статьи — и в газетах тоже ни одной статьи), что в России нет ни одного аптекарского магазина, т. е. сделанного и торгуемого русским человеком, — что мы не умеем из морских трав извлекать иоду, а горчишники у нас “французские”, потому что русские всечеловеки не умеют даже намазать горчицы разведенной на бумаге с закреплением ее “крепости”, “духа”. Что же мы умеем? А вот, видите ли, мы умеем “любить”, как Вронский Анну, и Литвинов Ирину, и Лежнев Лизу, и Обломов Ольгу. Боже, но любить нужно в семье; но в семье мы, кажется, не особенно любили, и, пожалуй, тут тоже вмешался чертов бракоразводный процесс (“люби по долгу, а не по любви”). И вот церковь-то первая и развалилась, и, ей-ей, это кстати, и “по закону”...

КАК МЫ УМИРАЕМ?

Ну что же: пришла смерть, и, значит, пришло время смерти.

Смерть, могила для $\frac{1}{6}$ части земной суши. “Простое этнографическое существование для бывшего Русского Царства и империи”, о котором уже поговаривают, читают лекции, о котором могут думать, с которым, в сущности, мирятся. Какие-то “полабские славяне”, в которых преобразуется *былая* Русь.

“*Былая* Русь”... Как это выговорить? А уже выговаривается.

Печаль не в смерти. “Человек умирает не когда он созрел, а когда он доспел”. Т. е. когда жизненные соки его пришли к состоянию, при котором смерть становится необходима и неизбежна.

Если нет смерти человека “без воли Божией”, то как мы могли бы допустить, могли бы подумать, что может настать смерть народная, царственная “без воли Божией”? И в этом весь вопрос. Значит, Бог не захотел более быть Руси. Он гонит ее из-под солнца. “Уйдите, ненужные люди”.

Почему мы “ненужные”?

Да уж давно мы писали в “золотой своей литературе”: “Дневник *лишнего* человека”, “Записки *ненужного* человека”. Тоже — “*праздного* человека”. Выдумали “*подполья*” всякие... Мы как-то прятались от света солнечного, точно стыдясь за себя.

Человек, который стыдится себя? — разве от него не застыдится солнце? — Солнышко и человек — в связи.

Значит, мы “не нужны” в подсолнечной и уходим в какую-то ночь. Ночь. Небытие. Могила.

Мы умираем как фанфароны, как актеры. “Ни креста, ни молитвы”. Уж если при смерти чьей нет креста и молитвы — то это у русских. И странно. Всю жизнь крестились, богомолились: вдруг смерть — и мы сбросили крест. “Просто, как православным человеком русский никогда не жывал”. Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно “в баню сходили и окатились новой водой”. Это — совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар.

Собственно, отчего мы умираем? Нет, в самом деле,— как выразить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и основательной причины: *неуважения себя*. Мы, собственно, самоубиваемся. Не столько “солнышко нас гонит”, сколько мы сами гоним себя. “Уйди ты, черт”.

Нигилизм... Это и есть нигилизм, — имя, которым давно окрестил себя русский человек, или, вернее, — имя, в которое он раскрестился.

— Ты кто? блуждающий в подсолнечной?

— Я нигилист.

— Я только *делал вид*, что молился.

— Я только *делал вид*, что *живу в царстве*.

— На самом деле — я сам себе свой человек.

— Я рабочий трубочного завода, а до остального мне дела нет.

— Мне бы поменьше работать.

— Мне бы побольше гулять.

— А мне бы не воевать.

И солдат бросает ружье. Рабочий уходит от станка.

— Земля — она должна сама родить. И уходит от земли.

— Известно, земля Божия. Она всем поровну.

Да, но не Божий ты человек. И земля, на которую ты надеешься, ничего тебе не даст. И за то, что она не даст тебе, ты обогришь ее кровью.

Земля есть Каинова, и земля есть Авелева. И твоя, русский, земля есть Каинова. Ты проклял свою землю, и земля прокляла тебя. Вот нигилизм и его формула.

И солнышко не светит на черного человека. Черный человек ему не нужен.

Замечательно, что мы уходим в землю упоенные. Мы начинали войну самоупоенные: помните, этот август месяц, и встречу Царя с народом, где было все притворно? И победы, — где самая замечательная была победа казака Крючкова, по обыкновению отрубившего семь голов у немцев. И это меньшиковское храброе — “Должны победить”. И Долиной — победные концерты, в цирке Чинизелли и потом в Царском. Да почему “должны победить”? Победа создается не на войне, а в мирное время. А мы в мирное время ничего не делали, и уж если что мы знали хорошо, то это — то, что равно ничего не делаем. Но дальше — еще лучше. Уж если чем мы упились восторженно, то это — революцией. “Полное исполнение желаний”. Нет, в самом деле: чем мы не сыты. “Уж сам жаждущий когда утолился, и голодный — насытился, то это в революцию”. И вот еще не износил революционер первых сапогов — как трупом валится в могилу. Не актер ли? Не фанфарон ли? И где же наши молитвы? и где же наши кресты? “Ни один поп не отпел бы такого покойника”.

Это колдун, оборотень, а не живой. В нем живой души нет и не было.

— Нигилист.

О нигилистах панихид не правят. Ограничиваются: “Ну его к черту”.

Окаянна была жизнь его, окаянна и смерть.

$\frac{1}{6}$ часть суши. Упоенная революция, как упоенна была и война. “Мы победим”. О, непременно. Так не есть ли это страшный факт, что $\frac{1}{6}$ часть суши как-то все произрастала из себя “волчцы и тернии”, пока солнышко не сказало: “Мне не надо тебя”. “Мне надоело светить на пустую землю”.

Нигилизм.— “Что же растет из тебя?”

— Ничего.

Над “ничего” и толковать не о чем.

— Мы не уважали себя. Суть Руси, что она не уважает себя.

Это понятно. Можно уважать труд и пот, а мы не потели и не трудились. И то, что мы не трудились и не потели, и есть источник, что земля сбросила нас с себя, планета сбросила.

По заслугам ли?

Слишком.

Как 1000 лет существовать, прожить княжества, прожить царство, империю, со всеми прийти в связь, надеть плюмажи, шляпу, сделать богомольный вид: выручаться, сояственно, — выручать самого себя “нигилистом” (потому что по-нормальному это ведь есть ругательство) и умереть.

Россия похожа на ложного генерала, над которым какой-то ложный поп поет панихиду. “На самом же деле это был беглый актер из провинциального театра”.

* * *

Самое разительное и показующее все дело, всю суть его, самую сутеньку — заключается в том, что “ничего, в сущности, не произошло”. “Но все — рассыпалось”. Что такое совершилось для падения Царства? Буквально, — оно пало в буддень. Шла какая-то “середка”, ничем не отличаясь от других. Ни — воскресенья, ни — субботы, ни хотя бы мусульманской пятницы. Буквально, Бог плюнул и задул свечку. Не хватало провизии, и около лавочек образовались хвосты. Да, была оппозиция. Да, царь скапризничал. Но когда же на Руси “хватало” чего-нибудь без труда еврея и без труда немца? когда же у нас не было оппозиции? и когда царь не капризничал? О, тоскливая пятница или понедельник, вторник...

Можно же умереть так тоскливо, вонюче, скверно. — “Актер, ты бы хоть жест какой сделал. Ведь ты всегда был с готовностью на Гамлета”. “Помнишь свои фразы? А то даже Леонид Андреев ничего не выплюнул. Полная проза”.

Да, уж если что “скучное дело”, то это — “падение Руси”.

Задуло свечку. Да это и не Бог, а ... шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко. “Ты нам трагедий не играй, а подавай водевиль”.

№ 2

Удобнее для читателя и меня, если “Апокалипсис нашего времени” я переведу в форму журнала, — однако не предполагая его издавать долго. Ограничиваясь пока мыслью дать всего *десять номеров*, я прошу желающих подписаться на него выслать подписную сумму, 3 руб. 50 коп., по адресу: *Сергиев Посад, Московская губерния, Красюковка, Полевая улица, д. свящ. Беляева, В. В. Розанову.*

Пересылку по почте принимает на себя автор-издатель. Имя, фамилия и точный адрес подписчика должны быть написаны четко.

МОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ

Я прочел в “Новом Времени”, в передовой статье, что “с Германиею Россия может заключить мир *хоть сейчас*, если уступит ей Курляндию и Лифляндию с Ригию, и еще некоторые части отечественной территории”. Думаю, что это из тех опасных иллюзий, за которые мы вообще уже столько заплатились. Не будем даже вспоминать слова Бисмарка, что “побежденному победитель оставляет только глаза, чтобы было чем плакать”. Это совсем не нужно, т. е. припоминаний о Бисмарке. Но нельзя представить себе, чтобы Германия, потеряв, во всяком случае, несколько миллионов не населения вообще, а той отборной части населения, которую образует армия, удовлетворилась крошечною терририею, с таким же числом только населения. Нельзя вообще представить себе, чтобы Германия подъяла войну такой страшной опасности и риска, такой невероятной тяжести, ради расчета на такое смехотворное

приобретение. Несомненно, она только успокаивает нас иллюзией мира: и почти это входит в состав ее жестокости. Как это нужно и для побалованья и духовного обмана глупых российских социалистов. Как последний аргумент своей мысли, я беру то, что для Германии, — оставь она целую Россию и, так сказать, способною к выздоровлению, — она, конечно, еще никогда не увидит ее столь беззащитною, с армиею, которая просто кидает оружие и уходит домой. И воображать, что Германия не разработает этот исключительный, этот невероятный случай, никогда ей и не мечтавшийся, со всем богатством возможностей, со всем обилием плода,— это просто показывает, что мы совершенные дети в политике.

Я имею самые печальные предчувствия. Я думаю, она разработает дело в смысле уже бывшего факта, такого же: именно — как было некогда *завоевание Англии норманнами*. И Вильгельм, не мечтая нисколько о незаманчивой роли Наполеона, с заключением на о-ве Св. Елены, манится гораздо более удачным жребием второго Вильгельма Завоевателя. Конечно, — после Петрограда он двинется на Москву, на Волгу и завоюет *именно Великороссию*, как центр “Всея Руси”, после чего захватит и Малороссию с Новороссией, — причем ему и вознаградить союзника будет из чего. Мы вообще стоим перед фактом завоевания России, покорения России, — к чему *препятствий ведь нет*. А такое отсутствие препятствий к покорению России, конечно, никогда на протяжении всей германской истории не повторится. И это не трудно предвидеть, предсказать; и это в Берлине предвидится так же хорошо, как — если бы были позорче люди в Петрограде — можно было бы предвидеть и в Петрограде.

Защита Англии и Франции? Это так далеко. Не десант же им делать. Да и Германия теперь десанта уже не пропустит. Это вполне в ее власти, при владении проливами около Эзеля и Даго. Да, освободив часть армии из России, она представит такую угрозу и самой Франции и Англии, с какою им справиться будет чрезвычайно трудно. А, во всяком случае, через самое небольшое число лет, обогатившись всеми средствами России и, между прочим, пользуясь и ее людским матерьялом (вот у немцев русские солдаты и бывшие социалисты пойдут в сражения!), Германия, несомненно, расправится и с Франциею, и с Англиею, и с Италиею. И моя почти шутовская игра воображения в “Итальянских впечатлениях” — “Возможный гегемон *Европы*” (отдельная глава) — осуществится. Уже тогда было что-то такое в Берлине, что-то носилось в самом воздухе, по чему чувствовалось это. Да и песенка: “Deutschland, Deutschland — über *alles*”, может быть, была не столько реально-глупою, сколько выверенно-пророчесвенною, сколько жадным аппетитом, Германский волк зол и толст. И нашей бедной России, стоящей перед ним таким пушистым ягненком, он не пощадит. А ягненок совершенно беззащитен.

Хороши же социалисты и вообще всероссийская демократия: скормить, все отечество скормить лютейшему врагу. Скормить не в переносном смысле, а в буквальном. Но нельзя не сказать: хороши и “лучшие люди России”, начинавшие революцию в такую роковую войну и, как оказалось потом, ничего решительно не предвидевшие. Ленин и социалисты оттого и мужественны, что знают, что их некому будет судить, что судьи будут отсутствовать, так как они будут съедены. (*Октябрь*.)

ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

Не довольно ли писать о нашей вонючей Революции, — и о прогнившем насквозь Царстве, — которые воистину стоят друг друга. И — вернуться к временам стройным, к временам ответственным, к временам страшным...

Вот — Апокалипсис... Таинственная книга, от которой обжигается язык, когда читаешь ее, не умеет сердце дышать... умирает весь состав человеческий, умирает и вновь воскресает... Он открывается с первых же строк *судом над церквами Христовыми*, — теми, которые были в Малой Азии, в Лаодикии, в Смирне, в Фиатире, в Пергаме и других городах. Но, очевидно, не Лаодикия, не Пергам и проч., лежащие ныне в руинах, на самом деле имеют значение для “последних времен”, какие имел в виду писатель странной книги. Но он рассмотрел посаженное Христом дерево и уловил с неизъяснимою для себя и для времени глубиною, что оно — *не* Дерево жизни; и предрек его судьбу в то самое время, в которое церкви только что зарождались.

Никакого нет сомнения, что Апокалипсис — не христианская книга, а — противохристианская. Что “Христос”, упоминаемый — хотя немного — в нем, “с мечом, исходящим из уст его” и с ногами “как из камня сардиса и халкедона”, — ничего же не имеет общего с повествуемым в Евангелиях Христом. В устроении Неба — ничего же общего с какими бы то ни было представлениями христианскими. Вообще — “все новое”... Тайнозритель Сам, волею своею и вспомоществующею ему Божию волею, — срывает звезды, уничтожает землю, все наполняет развалинами, все разрушает: разрушает — христианство, странным образом “плачущее и вопиющее”, бессильное и никем не вспомоществуемое. И — сотворяет новое, как *утешение*, как “утертые слезы” и “облечение в белые одежды”. Сотворяет радость жизни, на земле, — *именно на земле*, — превосходящую какую бы то ни было радость, изжитую в истории и испытанную человечеством.

Если же окинуть всю вообще компоновку Апокалипсиса и спросить себя: — “да в чем же дело, какая *тайна* суда над церквами, откуда *гнев*, *ярость*, прямо рев Апокалипсиса” (ибо это книга ревущая и стонущая), то мы как раз уткнемся в наши времена: да — в *бессилии* христианства устроить жизнь человеческую, — дать “земную жизнь”, именно — земную, тяжелую, скорбную. Что и выразилось к нашей минуте, — именно к нашей, теперешней... в которую “Христос не провозит хлеба, а — железные дороги”, выразимся уже мы цинично и грубо. Христианство вдруг все позабыли, в один момент, — мужики, солдаты, — потому что оно *не вспомоществует*; что оно не предупредило ни войны, ни бесхлебицы. И только все поет, и только все поет. Как певичка. “Слушали мы вас, слушали. И перестали слушать”.

Ужас, о котором еще не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а христианство сгноило грудь человеческую. Вот рев Апокалипсиса. Без этого не было бы “земли новой” и “неба нового”. Без этого не было бы вообще Апокалипсиса.

Апокалипсис требует, зовет и велит новую религию. Вот его суть. Но что же такое, что случилось?

Ужасно апокалипсично (“сокровенно”), ужасно странно: что люди, народы, человечество — *переживают апокалипсический кризис*. Но что само христианство кризиса не переживает. Это до того очевидно, до того читается в

самом Апокалипсисе, вот “в самых этих его строках”, что поразительно, каким образом ни единый из читателей и бесчисленных толкователей этого совершенно не заметил. Народы “поют новую песнь”, утешаются, облачаются в белую одежду и ходят “к древу жизни”, на “источники вод”. Куда ни папы, ни прежние священники вовсе никого не водили.

Блудницы вопиют. Первосвященники плачут. Цари стонут. Народы извиваются в муках: но — *остаток от народа* спасается и получает величайшее утешение, в котором, однако, ни одной черты христианского, — христианского и церковного, — уже не сохраняется.

Но что же, что же это такое? почему Тайнозритель так очевидно и неоспоримо говорит, что *человечество переживет* “свое христианство” и *будет еще долго после него жить*: судя по изображению, ничем не оканчивающемуся, — бесконечно долго, “вечно”.

Проведем параллели:

Евангелие — рисует.

Апокалипсис — ворочает массами, глыбами, творит.

В образах, которые силою превосходят евангельские картины, а красотой не уступают им, и которые пронзительны, кричат и вопиют к небу и земле, он говорит, что еще не перешедшие за городки Малой Азии церковки, — первые общины христианские, — распространятся во всей Вселенной, по всему миру, по всей земле. И в момент, когда настанет полное и, казалось бы, окончательное торжество христианства, когда “Евангелие будет проповедано всей твари”, — оно падет сразу и все, со своими царствами, “с царями, помогавшими ему”, и — “восплачут его первосвященники”. И что среди полного крушения настанет совершенно “все новое”, при “падающих звездах” и “небе, свившемся как свиток”. “Перестанет небо”, “перестанет земля”, и станет “все новое”, ни на что прежнее *не похожее*. Сказать это за 2000 лет, предречь с некоторыми до буквальности теперь сбывающимися исполнениями, перенесясь через всю христианскую историю, как бы пронзя “рогом” такую толщу времен и необъятность событий, — это до того странно, невероятно, что никакое из речений человеческих поистине не идет в сравнение. Апокалипсис — это событие. Апокалипсис — это не слово. Что-то похоже на то, что Вселенная изрыгнула его сейчас после того, как другой Учитель тоже Вселенной проговорил свои вещи и грозные слова, тоже в первый раз произнеся “суд миру сему”.

И вот — два суда: из Иерусалима о самом этом Иерусалиме, главным образом, — об Иерусалиме; и с острова Патмоса — над Вселенною, которую научил тот Учитель.

Нет ли разницы в самой компоновке слов? И, хоть это очень странно спрашивать о таких событиях-словах: нет ли чего *показующего для души в стиле литературного изложения?*

Евангелие — человеческая история, нам рассказанная: история Бога и человека: “богочеловеческий процесс” и “союз”.

Апокалипсис как бы кидает этот “богочеловеческий союз” — как негодное,— как изношенную вещь.

Но фундамент? фундамент? Но — почему? почему?

В образах до такой степени чрезмерных, что даже Книга Иова кажется около него бессилием и изнеможением, что даже “сотворение мира и человека” в Книге Бытия — тоже тускло и слабо, бледно и бескровно, он именно в *структуре могущества и показывает суть свою*. Он как бы ревет в “конце времен”, для “конца времен”, для “последнего срока человечества”:

Бессилие.

Конец мира и человечества будет таков, потому что Евангелие есть книга изнеможений. Потому что есть:

мочь

и — **не мочь**.

И что Христос пострадал и умер за **не мочь...** хотя бы и был в полной и абсолютной **истине**.

Христианство — неистинно; но оно — не мочно.

И образ Христа, начертанный в Евангелиях, — вот именно так, как там сказано, со всею подробностью, с чудесами и прочее, с явлениями и т. под., не являет ничего, однако, кроме *немощи, изнеможения...*

Апокалипсис как бы спрашивает: да, Христос мог описывать “красоту полевых лилий”, призвать слушать себя “Марию сестру Лазаря”; но Христос не посадил дерева, не вырастил из себя травки; и вообще он “без *зерна* мира”, без — *ядер*, без — *икры*; не травянист, не животен; в сущности — не бытие, а почти призрак и тень; каким-то чудом пронесшаяся по земле. Тенистость, тенность, пустынность Его, небытийственность — сущность Его. Как будто это — только Имя, “рассказ”. И что “последние времена” потому и покажутся так страшны, покажутся до того невероятно ужасны, так вопиюще “голодны”, а сами люди превратятся в каких-то “скорпионов, жалящих самих себя и один другого”, что вообще-то — “ничего не было”, и сами люди — точно с отошавшими отвислыми животами, и у которых можно ребра сосчитать, — обратились таинственным образом в “тень человека”, в “призраки человека”, до известной степени — в человека “лишь *по имени*”.

О, о, о...

Вот, вот, вот...

Не узнаем ли мы *себя* здесь? И как тогда не реветь Апокалипсису и не наполнять Престол Небесный — животными, почти — животами, брюхами — все самых мощных животных, тоже — ревущих, кричащих, вопиющих — льва, быка, орла, девы. Все — полет, все — сила. Почему бы не колибри и не “лилии полевые”? Маленькая птичка — хороша, как и большая, а “лилии” не хуже баобаба. И вдруг Апокалипсис орет:

— Больше мяса...

— Больше вопля...

— Больше рева...

— Мир отощал, он болен... Таинственная Тень навела на мир хворь...

— Мир — умолкает...

— Мир — безжизнен...

— Скорее, скорее, пока еще не поздно... Пока еще последние минуты длятся. “Поворот всего назад”, “новое небо”, “новые звезды”.

Обилие “вод жизни”, “Древо жизни”...

* * *

Солнце загорелось раньше христианства. И солнце не потухнет, если христианство и кончится. Вот — ограничение христианства, против которого ни “обедни”, ни “панихиды” не помогут. И еще об обеднях: их много служили, ни человеку не стало легче.

Христианство не космологично, “на нем трава не растет”. И скот от него не множится, не плодится. А без скота и травы человек не проживет. Значит, “при всей красоте христианства” — человек все-таки “с ним одним не проживет”. Хорош монастырек, “в нем полное христианство”; а все-таки *питается он около соседней деревеньки*. И “без деревеньки” все монахи перемерли бы с голоду. Это надо принять во внимание и обратить внимание на ту вполне “апокалипсическую мысль”, что *само в себе и одно* — христианство проваливается, “не есть”, гнило, голодает, жаждет. Что “питается” оно — *не христианством*, не христианскими знаками, не христианскими произрастаниями. Что, таким образом, — христианство само и одно, чистое и самое восторженное, зовет, требует, алчет — “и *не христианства*”.

Это поразительно, но так. Хороша была беседа Спасителя к пяти тысячам народа. Но пришел вечер, и народ возжаждал: “Учитель, *хлеба!*”

Христос дал хлеба. Одно из величайших чудес. Не сомневаемся в нем. О, нисколько, нимало, ни йоточки. Но скажем: каково же солнце, которое неизреченным тьмам народа дает хлеб,— дает как “по службе”, “по должности”, почти “по пенсии”. Дает и **может** дать. Дает и, значит, **хочет** дать?

У солнца — воля и... **хотение?**

Но... тогда “ваал-солнце”? ваал-солнце — финикиян?

И тогда “поклонимся Ему”? Ему и его великой **мощи?**

— Это-то уже несомненно. Ему и его великому, *благородному, человеколюбивому хотению?..???* Это же невероятно. Но что “солнце больше может, чем Христос” — это сам папа не оспорит. А что солнце больше Христа желает счастья человечеству — об этом еще сомлеваемся, но уже ничего не мог

бы возразить Владимир Соловьев, изучавший все “богочеловеческий процесс” и строивший “ветхозаветную теургию” и “ветхозаветное домостроительство” (или “теократию”).

Мы же берем прямо Финикию:

“Ты — ходил в Саду Божиим... Сиял среди игристых огней”... “Ты был первенец Мой, первенец от создания мира”, — говорит Иезекииль или Исаия, кто-то из ветхозаветных, — говорит городу, в котором поклонялись Ваалу и нимало, ни Иегове.

Ну, кто же не видит из моих тусклых слов, что “богочеловеческий процесс воплощения Христа” потрясается. Он потрясается в бурях, он потрясается в молниях... Он потрясается в “голодовках человечества”, которые настали, настают ныне... В вопияниях народных. “Мы вопияли Христу, и Он не помог”. “Он — немощен”. Помолится Солнцу: оно больше может. Оно кормит не 5000, а тьмы тем народа. Мы только не взирали на Него. Мы только не догадывались.

— “Христос — мяса!”

— “На ребра, в брюхо, детям нашим и нам!”

Христос молчит. Не правда ли? Так не Тень ли он? Таинственная Тень, наведшая отощание на всю землю.

№ 3

КРОТКАЯ

Ты не прошла мимо мира, девушка... о, кротчайшая из кротких... Ты испуганным и искристым глазком смотрела на него.

Задумчиво смотрела... Любяще смотрела... И запевала песню... И заплетала в косу ленту...

И сердце стучало. И ты томилась и ждала.

И шли в мире богатые и знатные. И говорили речи. Учили и учились. И все было так красиво. И ты смотрела на эту красоту. Ты не была завистлива. И тебе хотелось подойти и пристать к чему-нибудь.

Твое сердце ко всему приставало. И ты хотела бы петь в хоре.

Но никто тебя не заметил, и несен твоих не взяли. И вот ты стоишь у колонны.

Не пойду и я с миром. Не хочу. Я лучше останусь с тобой. Вот я возьму твои руки и буду стоять.

И когда мир кончится, я все буду стоять с тобою и никогда не уйду.

Знаешь ли ты, девушка, что это — “мир проходит”, а — не “мы проходим”. И мир пройдет и прошел уже. А мы с тобой будем вечно стоять.

Потому что справедливость с нами. А мир воистину несправедлив.

ЧТО-ТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ

Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. В сотворении его “что-то такое произошло”, что было неожиданно и для Бога. И отсюда, собственно, иррационализм, мистика (дурная часть мистики) и неясность. Мир гармоничен, и это — “конечно”. Мудр, благ и красота, и это — Божие. Но “хищные питаются травоядными” — и это уж не Божие. Сова пожирает зайчонка — тут нет Бога. Бога, гармонии и добра.

Что такое произошло — этого от начала мира никто не знает, и этого не знает и *не понимает* Сам Бог. Борься или победить это — тоже бессилён Сам Бог. Так “я хочу родить мальчика красивого и мудрого”, а рождается “о 6-ти пальцах, с придурью и непредвиденными пороками”. Так и планета наша. Как будто она испугана была чем-то в беременности своей и родила “не по мысли Божией”, а “несколько иначе”. И вот “божественное” смешалось с “иначе”...

И перед этим “иначе” покорен и Бог. Как тоскующий отец, который смотрит на малютку с “иначе”, и хочет поправить, и не может поправить. И любит “уже все вместе”...

ЗАЧЕМ ОНИ ЗВОНЯТ?

Бом. Бом. Бом. Но уже звук пустой.

.....
.....

И оттого, что под колоколом нет венчания невесты и жениха. Тот, *другой*, — не помог. А *этот*, который все-таки помогал по мелочам, — немного, но помогал, — немного, но старался, — по-земному и глупо, но все-таки старался, — услан далече.

И не вздохнула невеста по женихе. И я увидел, что она горбатая.

.....
.....

Эх, не горбат вот жид: написал в марте:

“... Напишите, как вы умеете писать, — *правдиво и страстно*, — мне о “мартовских днях”. Тут зима, — и лютая, — весны еще нет. Весь этот гул и шум противен моей душе. В санатории уже умерло 4 воина. Смерть сильнее всего на этой планете. Есть ли душа? Есть ли загробная жизнь? Вот это важнее всех революций! Жаль царя Николая. Догадываюсь, что он был человек мягкого характера и безвольный очень. *Все, все* — пройдет, но что будет “там”? Вам 61 год, вы много думали, страдали, — скажите мне вы, дорогой душевный друг. Лейзер Шацман.

Санаторий “Дергачи”, Харьковской губернии и уезда. Всероссийского Земского Союза, № 11 (туберкулезный)”. (Лично мне не знаком.)

ДЕД

Когда не хочется больше любить, не ждётся одежда, и кушаешь кашку-размазню с кой-каким маслицем, — то и называет себя, естественно, “христианином”.

Лысый, с белой бородою,
Дедушка сидит.
Чашка с хлебом и водою
Перед ним стоит.

— Кто ты, дедушка?

— Хрестьянин... хрестьянин...

Или, как Достоевский и софистически и верно перефразировал:

— “Христианин”.

Боже: к чему догматики, историки, апологеты нагородили столько ерунды, когда дело выражается в одном великом:

не надо.

“МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”

— и делает очень глупо. Оттого она бедна. Нужно именно *верить*, и — не слезам, а — вообще, всегда, до тех пор пока получил обман: финикияне в незапамятную древность, в начале истории, приучились верить и образовали простую бумажку, знак особый, который писали, делали и т.д. Он был условен: и кто давал его — получал “доверие”, и это называлось — *кредитом*. Заведшие это, “доверчивые” люди, но определенно доверчивые, и вместе — не по болтовне или “дружеской беседе”, а — деловым образом и для облегчения жизни, стали первыми в мире по богатству. Не чета русским. Которые даже в столь позднее время — все нищают, обманывают и — тем все более разоряются.

* * *

Долг платежом красен

— и русские выполняют и не могут не выполнить этого, насколько это установили финикияне (вексель)... Но решительно везде, где могут, — стараются жить на счет друг друга, обманывают, сутенерничают. И думая о счастье — впадают все в бóльшее и бóльшее несчастье.

ОБ ОДНОМ НАРОДЦЕ

Им были даны чудные песни всем людям. И сказания его о своей жизни — как никакие. И имя его было священно, как и судьбы его — тоже священны для всех народов.

Потом что-то случилось... О, что же, что же случилось?..

.....

Нельзя понять...

.....

Ни один народ не может. Никто из человечества...

.....

Ни мудрец, ни ученый, ни историк.

И стал он поругаемым народом, имя которого обозначает хулу. И имя которого, национальное имя, стало у каждого племени ругательным названием всякого человека, к кому оно приложится в этом чужом племени.

О, что же случилось?..?..

.....

.....

Больше, больше: будем ли мы читать “Летопись Тацита” — когда томимся? Или — Геродота о скифах и Вавилоне? Будем ли читать о Пелопонесской войне — Фукидида? Нет, нет: когда *в томлении души* — то как все это чуждо и посторонне... Все это мы изучали бы, только чтобы прочесть лекцию, написать ученый труд, и — “так, от некоторого безделья”.

Но вот — юная вдова, подбирающая колосья пшеницы на поле богатого землевладельца: и то, *как* она это делает, — и *слова* ее своей свекрови, — проливают в душу утешения. И много еще...

Народ этот пролил утешение во все сердца.

И все-таки он проклят. Что же случилось, — о, что такое, особенное???...?

* * *

Сказать: “*утешение*” — и это сказать *все* о том народе. Читаем ли мы хронику о Меровингах у Григория Турского или изящные очерки Августина Тъери, написанные по канве этой хроники, — мы в обоих случаях читаем милое, грациозное, прелестное. Но это чтение дает только наслаждение вкусу, душа же остается если не холодной, то спокойной. Но вот мы читаем о войне, о грозе: один царь — победитель, другой — побежден. Побежденный боится за жизнь свою, обыкновенно боится — как боялся бы каждый человек, и ищет потаенной комнаты во дворце своем. Победитель спрашивает о враге своем, и ему

приближенные передают о всем унижении и страхе, в каком тот находится. Вдруг победитель отвечает вовсе не тем гордым, самоуверенным тоном, какой так естествен в самоупоении победы и каким в самоупоении победы говорили *все* цари и полководцы, а — совсем иным, новым, неожиданным:

“Зачем он бежит от меня? Он — *брат мой*”.

Кто в историях Ассирии видал, как со связанными за спиною руками пленник стоит перед победившим царем на коленях, а ассирийский царь, подняв копье, выкалывает ему глаза, и вместе примет во внимание, что переименование “врага” в “брата своего” произошло в ту же самую эпоху, тот оценит *всю разницу* в душевном строе одного и другого. И поймет, почему я упорно называю “утешением” то особое чувство, какое льется на душу читателя от истории этого единственного народа.

И он — проклят.

Но тогда что же случилось, почему мы так же ненавидим этот народец, как ассирияне ненавидели своих врагов. И, оглядываясь на цивилизацию нашу, не подумаем ли о ней с печалью строк, сказанных Алексеем Толстым:

Ассирияне шли как на стадо волки,
В багреце их и в злате сияли полки,
И без счета их копы сверкали окрест,
Как в волнах Галилейских мерцание звезд.

Словно листья дубравные в летние дни,
Еще вечером так красовались они;
Словно листья дубравные в вихре зимы.
Их к рассвету лежали развеяны тьмы.

Ангел смерти лишь на-ветер крылья простер
И дохнул им в лицо, и померкнул их взор.
И на мутные очи пал сон без конца,
И лишь раз поднялись и остыли сердца.

Вот расширивший ноздри, повергнутый конь,
И не пышет из них гордой силы огонь,
И как хладная влага на бреге морском,
Так предсмертная пена белеет на нем.

Вот и всадник лежит, распростертый во прах,
На броне его ржа, и роса на власах;
Безответны шатры, у знамен ни раба,
И не свищет копье и не трубит труба.

И Ассирии вдов слышен плач на весь мир,
И во храме Ваала низвержен кумир,
И народ, не сраженный мечом до конца,
Весь растаял, как снег, перед блеском Творца!

И вот народ, который всемирно был утешителем всех скорбных, утомленных, нуждающихся в свете душ, — теперь во тьме, и не только сам без утешения, но

пинаем и распинаем... Чтó же, чтó такое случилось? Явно — случилось в планете и в судьбах человечества?

ЕЖЕДНЕВНОСТЬ

Булочки, булочки...
Хлеба пшеничного...
Мяса бы немного..

* * *

Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии “холода” — организму человеческому, как организму “теплокровному”. Он *боится холода*, и как-то *душевно боится*, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как “гусиная кожа на холоду”. Вот вам и “свобода человеческой личности”. Нет, “душа свободна” — только если “в комнате тепло натоплено”. Без этого она не свободна, а боится, напугана и груба.

* * *

Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, и господа и прислуга это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек. Проехав на днях в Москву, прошелся по Ярославскому вокзалу, с грубым желанием видеть, что едят. Провожавшая меня дочь сидела грустно, уткнувшись носиком в муфту. Один солдат, вывернув из тряпки огромный батон (витой хлеб пшеничный), разломил его широким разломом и начал есть, даже не понюхав. Между тем пахучесть хлеба, как еще пахучесть мяса во щах, есть что-то безмерно неизмеримее самого питания. О, я понимаю, что в жертвеннике Соломонова храма были сделаны *ноздри* и сказано, — о *Боге сказано*, — что он “вдыхает туки своих жертв”.

СОЛНЦЕ

Заботится ли солнце о земле?

Не из чего не видно: оно ее “притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний”.

Таким образом, 1-й ответ о солнце и о земле Коперника был глуп.

Просто — глуп.

Он “сосчитал”. Но “счет” в применении к нравственному явлению я нахожу просто глупым.

Он просто ответил **глупо**, негодно.

С этого глупого ответа Коперника на нравственный вопрос о планете и солнце началась пошлость планеты и опустошение Небес.

“Конечно, — земля не имеет об себе заботы солнца, а только притягивается по кубам расстояний”.

Тьфу.

№4

ПРАВДА И КРИВДА

“Без *грешного* человек не проживет, а без *святого* — слишком проживет”. Это-то и составляет самую, самую главную часть а-космичности христианства.

Не только: “читаю ли я Евангелие с начала к концу, или от конца к началу”, я совершенно ничего не понимаю:

как мир устроен? и — почему?

Так что Иисус Христос уж никак не научил нас мирозданию; но и сверх этого и главным образом: — “дела плоти” он объявил грешными, а “дела духа” праведными. Я же думаю, что “дела плоти” суть главное, а “дела духа” — так, одни разговоры.

“Дела плоти” и суть космогония, а “дела духа” приблизительно выдумка.

И Христос, занявшись “делами духа”, — занялся чем-то в мире побочным, второстепенным, дробным, частным. Он взял себе “обстоятельства образа действия”, а не самый “образ действия”, — т.е. взял он не *сказуемое* того предложения, которое составляет всемирную историю и человеческую жизнь, а — только одни *обстоятельственные, теневые, штриховые* слова.

“Сказуемое” — это еда, питье, совокупление. О всем этом Иисус сказал, что — “грешно”, и — что “дела плоти соблазняют вас”. Но если бы “*не соблазняли*” — человек и человечество умерли бы. А как “слава Богу — соблазняют”, то — тоже “слава Богу” — человечество продолжает жить.

Позвольте: что за “слава Богу”, если человек (человечество) умер?

Как же он мог сказать: “Аз есмь путь и жизнь”? Ничего подобного. Ничего даже приблизительноного. “Обстоятельственные слова”.

Напротив, отчего есть “звезды и красота” — это понятно уже из насаждения рая человекам. Уже *он* — прекрасен, и это есть утренняя звезда. Я хочу сказать, что “утреннюю звезду” Бог дал человеку в раю: и тайным созданием Эдема Он выразил и вообще весь план сотворения чего-то изумительного, великолепного, единственного, неповторимого. Все к этому рвется: “лучше”, “лучше”, “лучше”. Есть меры и измеримость: Бог как бы изрек — “Я — безмерный, и все сотворенное мною рвется к безмерности, бесконечности, нескончаемости”. А, это — понятно. “Там оникс и камень бдолах” (о рае). Напротив, когда мы читаем Евангелие, то что же мы понимаем в безмерности? Да и не в одной безмерности: мы вообще — ровно ничего не понимаем в мире.

“И вот, на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее — луна; и на голове ее — венец из двенадцати звезд.

Она имела во чреве и кричала от мук рождения”.

(Апокалипсис, 12)

Тут мы понимаем, что роды, именно человеческие роды, лежат в центре космогонии.

Библия — нескончаемость.

“Иисус же сказал: “Есть скопцы, которые из чрева матерного родились тако; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сами сделали себя скопцами ради Царства Небесного. Кто может вместить это да вместит”.

(Евангелие от Матфея, 19)

Тут мы совершенно ничего не понимаем, кроме того, что это не нужно. Евангелие — тупик.

Теперь: “грех” и “святость”, “космическое” и “а-космичность”: мне кажется, что если уже где может заключаться “святое”, “святость” — то это в “сказуемом” мира, а не “в обстоятельствах образа действия”. Что за эстетизм. Поразительно великолепии Евангелия: говоря о “делах духа” в противоположность “делам плоти” — Христос через это именно и показал, что “Аз и Отец — *не одно*”. “Отец” — так Он и отец: посмотрите Ветхий Завет, — чего-чего там нет. Отец не пренебрегает самомалейшим в болезнях дитяти, даже в капризах и своеволии его: и вот *там*, в Ветхом Завете, мы находим “всяческое”. Все страсти кипят, никакие случаи и исключительности — не обойдены. “Отец” берет свое дитя в руки, моет и очищает его сухим и мокрым, от кала грязного и от мокрого. Посмотрите о лечении болезней, парши, коросты. В пустыне Он идет над ними *тенью* — днем (облако, зной) и столбом огненным — ночью *освещает путь*. Похитили золотые вещи у египтян, и это не скрыто; ибо так естественно, так просто: ведь они работали на них в рабстве, работали — бесплатно. Этим таинственным и глубоким попечением о человеке, каким-то кутающим и пеленающим,— отличается “Отцовский завет” от сыновнего. Сын — именно “*не одно*” с Отцом. Пути физиологии суть пути космические, — и “роды женщины” поставлены впереди “солнца, луны и звезд”. Тут тоже есть *объяснение*, чего абсолютно лишено Евангелие. Действительно: тут показано, в видении Апокалипсиса, что и луна, и звезды, и солнце — все для облегчения “родов”. *Жизнь поставлена выше всего*. И именно — жизнь человека. Пирамида ясна в основании и завершении. Евангелие оканчивается скопчеством, тупиком. “Не надо”. Не надо — самых родов. Тогда для чего же солнце, луна и звезды? Евангелие со странным эстетизмом отвечает — “для украшения”. В производстве жизни — этого не нужно. Как “солнце, луна и звезды” явились ни для чего, в сущности, так и роды — есть “ненужное” для Евангелия, и мир совершенно обесмысливается. “Все понятно” — в Библии, “ничего не понятно” — в Евангелии.

И вот — Престол Апокалипсиса, посреди коего сидят животные. Что за представление небес? Но разве роды коровы ниже чем-нибудь родов женщины? Это — “пути Божии”. В “оправдании всего” Апокалипсиса — именно и лежит оправдание Божеское, оправдание Отцовское, и с болячками, и с коростами, и с поносами, и с запорами дитяти-человека. Как чудно! О, как хорошо! Славны и велики пути Твои, Господи, и славны они в болезни и в исцелении.

Апокалипсис изрекает как бы правду Вселенной, правду *целого* — вопреки *узенькой* “евангельской правде”, которая странным образом сводится не к богатству, радости и полноте мира, а к точке, молчанию и небытию скопчества. Воистину — “поколебались основания земли”. Христос пришел таинственным образом “поколебать все основания” сотворенной “будто бы Отцом Его” Вселенной. И что Коперник, на вопрос о солнце и земле, начал говорить, что они действуют “по кубам расстояний”, — то это совершенно христианский ответ. Это — именно “обстоятельство образа действия”. А “для чего они действуют” — это и неведомо, и неинтересно.

Таинственным образом христианство начало обходиться “пустяками”. На вопрос о земле и луне оно ответило “кубами расстояний”, а на вопрос о гусенице, куколке и мотыльке оно ответило еще хуже: что так “бывает”. “Наука христианская” стала сводиться к чепухе, к позитивизму и бессмыслице. “Видел, слышал, но не понимаю”. “Смотрю, но ничего не разумею” и даже “ничего не думаю”. Гусеница, куколка и мотылек имеют объяснение, но не физиологическое, а именно — космогоническое. Физиологически — они необъяснимы; они именно — *неизъяснимы*. Между тем космогонически они совершенно ясны: это есть все живое, решительно все живое, что приобщается жизни, гробу и воскресению.

В фазах насекомого даны фазы мировой жизни. Гусеница: — “мы ползаем, жрем, тусклы и недвижимы”. — “Куколка” — это гроб и смерть, гроб и прозябание, гроб и обещание. — Мотылек — это “душа”, погруженная в мировой эфир, летающая, знающая только солнце, нектар, и — никак не питающаяся, кроме как из огромных цветочных чашечек. Христос же сказал: “*В будущей жизни уже не посягают, не женятся*”. Но “мотылек” есть “будущая жизнь” гусеницы, и в ней не только “женятся”, но — наоборот Евангелию при сравнительной неуклюжести гусеницы, при подобии смерти в куколке, — бабочка вся только одухотворена, и, не вкушая вовсе (поразительно!! — не только хоботок ее вовсе не приспособлен для еды, но у нее нет и кишечника, по крайней мере — у некоторых!!), странным образом — она имеет отношение *единственно к половым органам* “чуждых себе существ”, приблизительно — именно Деревя жизни: растений, непонятных, загадочных. Это что-то, перед всякой бабочкою, — неизмеримое, огромное. Это — лес, сад. Что же это значит? Таинственным образом жизнь бабочки указывает или предвещает нам, что и души наши после гроба-куколки — будут получать от нектара двух или обоих божеств. Ибо сказано, что сотворена была Вселенная от Элогим (двойственное число Имени Божия, употребленное в рассказе Библии о сотворении мира), а не от Элоах (единственное число); что божеств — *два*, а не *одно*: “*по образу и по подобию* которых — *мужем и женою сотворил Бог и человека*”.

Мотылек — душа гусеницы. Solo — душа, без привходящего. Но это показывает, что “душа” — не нематерьяльна. Она — осязаема, видима, *есть*: но только — *иначе, чем в земном существовании*. Но что же это и как? Ах, наши сны и сновидения иногда реальнее бодрствования. Гусеница и бабочка показывают, что на земле мы — только “жрем”; а что “там” будет все — полет, движение, камедь, мирра и фимиам.

Загробная жизнь вся будет состоять из света и пахучести. Но именно — того, что ощущимо, что физически — пахуче, что плотски, а не бесплотно — издает

запах. Не без улыбки можно ответить о “соблазнах *мира сего*”, что в них-то и “течет”, как бы истекает из души вещей, из энтелехии вещей — уже теперь “жизнь будущего века”; и что вкусовая и обонятельная часть нашего лица, и вообще-то наиболее прекрасная и “небесная”, именно и прекрасна от очертаний губ, рта и носа. “Что за урод, в ком нет носа и губ”, или есть в них повреждение, и даже просто — некрасивая линия. Апокалипсическое в нас — улыбка. Улыбка — всего апокалипсичнее.

Радость, ты — *искра небес*, ты — *божественна*,

Дочь *елисейских полей*...

Это — не аллегория, это — реальная, точнее — это ноуменальная правда. “Хорошо соблазняться” и “хорошо быть соблазняемым”. Хорошо, “через кого соблазн входит в мир”: он вносит край неба на плосковатую землю. Загадочно, что в Евангелии ни разу не названо ни одного запаха, ничего — пахучего, ароматного; как бы подчеркнута расхождение с цветком Библии — “Песнью песней”, этою песнею, о которой один старец Востока выговорил, что “все стояние мира недостойно того дня, в который была создана “Песня песней”. И вот. Евангелие, таким образом, представляет “эту” и “будущую жизнь” совсем наоборот: “пути”-то жизни, насколько они *физиологические пути*, и есть *главное и небесное* (Престол Апокалипсиса); это есть “подлежащее”, которое “оправдалось”.

А тот “путь жизни”, “жизнь духа” — есть “обстоятельный путь”, Проводимый в праздности, эстетике и разговорах...

И *долго на свете томилась* она

это — земная жизнь гусеницы, ползающая и жрущая...

Желанием чудным полна

это — мотылек, бабочка, утопающая в эфире, в солнечных лучах. Того самого Солнца, которое “и со звездами, и с луною” — только “окружает роды женщины”.

*И песен любви заменить не могли
Ей скучные песни земли.*

И никакого “ада и скрежета зубовного” *там*, а — собирание нектара с цветов. За муки, за грязь и сор и “земледелие” гусеницы, за гроб и подобие, — но только *подобие смерти* в куколке, — душа восстанет из гроба; и переживет, каждая душа переживет, и грешная и безгрешная, свою невыразимую “песню песней”. Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь.

ИЗ ТАИНСТВ ХРИСТОВЫХ

“Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда...”

Как **это** сказано... О, как сказано... И чудятся какие-то действительно страшные тайны за сказавшим так или, особенно, за *увидевшим* что-то...

СЫН

Чтобы сын родился — нужно допустить какой-то *недостаток* в отце. Отец — это так **полно**. Отец — это **все**. Отец — это Солнце и душа и правда солнца. Везде лучи Его до концов Вселенной. Отец, и — **кончено**.

Что же значит, что **Сын родился**? Только если Отец в чем-то *недотворил*? Или, может быть, он не научил или недоучил? Но и “нравственный закон” он уже принес (на Синае). Вовсе не одно сотворение “глыб”, “солнца и луны”, и “света” и “ночи”. Что же? Как же?

Нельзя понять иначе, как заподозрив отца в *недостатке* и полноте. “Отец — это еще **не всё и не конец**”.

Ну, — тогда понадобился и Сын.

СОЛНЦЕ

Живет ли Солнце?

Вот самое загадочное, — и даже единственно загадочное, — о нем.

Все решительно ученые, до единого все, от Лапласа до гимназиста, убеждены, что оно “конечно — не живет”; что оно есть “предмет”...

Но почему не гаснет? — “Погаснет”. Но ведь времени было довольно, чтобы погаснуть. Довольно ли?? О, кажется...

“От него жизнь на земле”. От *него* ли? По-видимому. Живое от механического? Странно. “Да. Но так учат атомы”. “Они все стучат”.

Ну а если оно “живет”? Тогда 1-я мысль кидается к Христу. “Значит, Ты — не Бог”. Странно.

“Солнце живет”. Допустим эту гипотезу. Допустим не как фразу, а как действительность. Но как же оно живет? “В таком огне?” — В таком огне прекращается жизнь. И если бы так, то значило бы, что для “жизни” пределов температуры нет.

Странно.

Нет, по-видимому,— “не живет”. “При такой горячности — все кипит,сварится”.

Имеет ли оно душу — вот вопрос. “Что будет с душой при очень высокой t° ?”

Неведомо.

Почему планеты движутся около Солнца? Почему не “стоят” около Солнца? “Тогда бы упали”. Ну, и “упали” — ничего. “Мала куча”.

Все же в “движениях планет” и в самом “Солнце” наука ничего не понимает, даже раз-наука. И Лаплас понимает столько же, сколько гимназист.

* * *

Да, еще: что заключается внутри чего. Солнечная система заключается внутри Евангелия, или Евангелие заключается внутри Солнечной системы?

№5

Вследствие повышения с февраля 1918 г. платы за пересылку печатных бандеролей почтою, прошу лиц, имеющих лично у меня подписку, дослать один рубль за десять №№ “Апокалипсиса нашего времени”, по адресу: В Сергиев Посад, Московской губ., Краснокуровка, Полевая ул., д. свящ. Беляева. В. В. Розанову.

* * *

Всех выпусков “Апокалипсиса” заготовлено не менее 50—60, и только по техническим и денежным препятствиям он растянется более чем на год.

* * *

За величиною статьи, следующий выпуск выйдет в двойном размере (т.е. сразу №№ 6 и 7, за 70 коп.).

* * *

Очень рекомендую всем читателям “Апокалипсиса”, взволнованным революцией, прочесть брошюру: “Научный социализм или учение о прибыли как ренте”, инженер-технолога Трофимова, прекрасно раскрывающую софизмы, заложенные в нашу революцию.

НЕМНОЖКО И РАДОСТИ

“Приидите володеть и княжити над нами. Земля бо наша велика и обильна, а наряда в ней нет”.

Нестерова летопись.

“Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил благословляя”.
Тютчев.

Удивительное сходство с евреями. Удивительное до буквальности. Историки просмотрели, а славянофилы не догадались, что это вовсе не “отречение от власти” народа, до такой степени уж будто бы смиренного, а — *неумелость* власти, *недаровитость* к ней или, что лучше и даже превосходно до

единственности: что это прекрасный дар жить улицею, окологородком, и — не более, не грешнее.

“С нас довольно и сплетен, да кумовства”.

Ей-ей, под немцами нам будет лучше. Немцы наведут у нас порядок,— “как в Риге”. Устроят полицию, департаменты. Согласимся, что ведь это было у нас всегда скверно и глупо. Министерство заведут. Не будут брать взятки, — наконец-то... и о чем мы выли, начиная с Сумарокова, и довели до самого Щедрина... “Бо наряда — нет”. Ну их к чёрту, болванов. Да, еще: наконец-то, наконец немцы научат нас русскому патриотизму, как делали их превосходные Вигель и Даль. Но таких было только двое, и что же могли они?

Мы же овладеем их душою так преданно и горячо, как душою Вигеля, Даля, Ветенека (Востоков) и Гильфердинга. Ведь ни один русский *душою* в немца не переделался, потому что они воистину болваны и почти без души. Почему так и способны “управлять”.

Покорение России Германиею будет на самом деле, и внутренне и духовно, — покорение Германии Россией. Мы, наконец, из них, — из лучших их, — сделаем что-то похожее на человека, а не на шталмейстера. А то за “шталмейстерами” и “гофмейстерами” они лицо человеческое потеряли.

Мы научим их танцевать, музыканить и петь песни. Может быть, даже научим молиться. Они за это будут нам рыть руду, т.е. пойдут в каторгу, будут пахать землю, т.е. станут мужиками, работать на станках, т.е. сделаются рабочими. И будут заниматься аптеками, чем и до сих пор ни один русский не занимался. “Не призвание”, — будут изготовлять нам “французские горчишники”, тоже — как до сих пор.

Мы дадим им пророков, попытаемся дать им понятие о святости, — что едва ли мыслимо. Но хоть попытаемся. Выучим говорить, петь песни и сказывать сказки.

В тайне вещей мы будем их господами, а они нашими нянюшками. Любящими и послушными нам. Они будут нам служить. Матерьяльно служить. А мы будем их духовно воспитывать.

Ибо и нигилизм наш тогда пройдет. Нигилизм есть отчаяние человека о неспособности делать дело, к какому он вовсе не призван.

Мы, как и евреи, призваны к идеям и чувствам, молитве и музыке, но не к господству. Овладели же, к несчастью и к пагубе души и тела, $\frac{1}{6}$ частью суши. И, овладев, в сущности, испортили $\frac{1}{6}$ часть суши. Планета не вытерпела и перевернула все. Планета, а не германцы.

ОПАСНАЯ КАТЕГОРИЯ

Обаятельный, оболъстительный, лукавый.

Удивительно, что в категории “лукавства”, — вот этого особенного и особой глубины греха, — не ведут вообще никакие порочные ступени, кроме как если ступить на первую:

— Обаятелен...

— Что такое? Как? Почему?

— Обаятелен, — потому что не подлежит укору, не представляет порока и пороков, и всех “обаяет”, с первого же взгляда, как только кто увидит или услышит его.

— Обольстителен, потому что, в силу качества непорочности и красоты, — все идут за ним.

Но вот странно: как же из непорочности и красоты может вдруг выйти третье? Это совершенно не естественно. Но, однако, глаз людской, обыкновенный и, так сказать, нетенденциозный, вдруг заметил, что опасная категория именно и начинается с двух качеств:

— Обаятельности, обольстительности.

Поэтому бы, — “по предречениям”, — надо быть особенно осторожным, если вдруг увидим человека особливо, исключительно невинного, чистого, непорочного.

— Обаятельного.

В этом отношении хорошо бы поставить зарок, ввиду именно предупреждений:

— Пусть будет хоть маленький порок. Почти — невинный, но — однако, недостаток. Величайший из древних, коего люди могли счесть “Богом”, — и даже действительно начали было “искать его могилу как Бога”, и не могли найти, — что человек этот был — говоря славянским словом — “гугнив”. Т. е. он был косноязычен, заикался. “Спас народ Божий от рабства” и “дал все (все!!) законы” и, с тем вместе, был ни более ни менее как заикою. Качество — прямо смешное. Но качество невинно. И вот, по этому соединению “невинного и смешного”, — мы узнаем Божию книгу и узнаем Божие событие.

В самом деле: от события и от книги никакого “худого последствия не проистекло”. Нужно заметить, что “лукавое” начинает узнаваться по *последствиям*.

Ибо прямо-то ведь как узнать: “обаятелен” и “обольщает”.

ОГОНЬ ХРИСТОВ

Где обожжет огонь Христов...

Но — по-настоящему обожжет...

Там уже никогда ничего не вырастет.

Вот — и град Салима (Соломона).

И — судьба Иудеи.

И Павел, просивший распять его “не как нашего Господа: но головою книзу”, дабы “голова его была там, где ноги его возлюбленного Учителя”.

И — наши скопцы.

Об этом-то и догадались впервые иезуиты.

Сказавшие: “Не увлекайтесь очень”. И начавшие торговать в Парагвае.

ТАЙНЫ МИРА

Ты один прекрасен. Господи Иисусе! И похулил мир красотой Своею. А ведь мир-то — Божий.

Зачем же Ты сказал: “Я и Отец — *одно*”? Вы не только “одно”, а ты — *идешь на Него*. И сделал что Сатурн с Ураном.

Ты оскопил Его. И только чтобы оскопить — и пришел. Вот! вот! вот! — наконец-то разгадка слов о скопчестве. И что в Евангелии уже не “любят”, а живут как “Ангелы Божии”: как в плавнях приднепровских, “со свечечками и закопавшись”. О, ужасы, ужасы...

И весь Ты ужасен. Ты — не простой, а именно — ужасен. И ты воскрес — о, я верю! “Егда вознесусь — всех привлеку к себе”.

Но, — чем?

О, ты не *друг* человеков. Нет, не друг. “Договор”, “завет” (о “ветхом”), и это кажется формально и сухо. Но как Ты их ужасно угнет, до последнего рабства. Поистине — “рабы Господни”... Даже и до смерти, до мученичества.

Не потрясает ли: “Ни единый мученик не был пощажен”. А ведь *мог бы?*..

Мог *ли?*

О...

Конечно, кто *воскресил* Лазаря — *мог*. Значит — *не захотел*...?

О, о, о...

Ты *все* мог, Господи Иисусе. Ты, “потрясший небо и землю”.

И не избавивший даже детей ни от муки небесной, ни от муки земной.

Рабы, рабы... Да, “договор” — он “свят”. — “Ты — мне, как я тебе”. Ты же дал все унижение и взял себе всю славу. И вот, неужели Ты не понимаешь, почему на Тебя восстал праведный Израиль. Он восстал — не понимая. “Что-то — *не*

то". Что — "не то"? Да похулив создание Божие, Ты более всего похулил, — похулил особенно и страшно, — "отрока Иеговы". И он, не понимая, "что" и "за что", — восстал на Тебя.

Вот разгадка, вот разгадка, вот разгадка.

Ну, слушай: очень хороши "лилии полевые". Но ведь не хуже и "человек"? Что же Ты его все гвоздил "грехом"? И испугал муками? "Там будет огонь неугасимый" и "скрежет зубовой". Очень мило.

Вообще, все очень мило в Твоем создании, поистине — особом создании, особом "от Отца". Люди более не посягают, не любят, не множатся. А все слушают Тебя, как эта бедная Мария.

О, бедная, бедная... Да уж не мученица ли она "потом", которую Ты тоже забыл в небесном величии.

ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ

Чтобы быть "без греха" — Христу и надо было удалиться от мира... Оставить мир... Т. е. *обессилить* мир.

"Силушка" — она грешна. Без "силушки" — что поделаешь? И надо было выбирать или "дело", или — безгрешность.

Христос выбрал безгрешность. В том и смысл искушения в пустыне. "И дам тебе все царства мира". Он не взял. Но тогда как же он "спас мир"? Неделанием. "Уходите и вы в пустыню".

Не нужно царств... Не нужно мира. Не нужно вообще "ничего"... Нигилизм. Ах, так вот где корень ею. "Мир без начинки"... Пирог без начинки. "Вкусно ли?" Но действительно: Христом вывалена вся начинка из пирога, и то называется "христианством".

СОЛНЦЕ

Говорят: "Нет вечного *perpetuum mobile*". Доказывают. Наука. Свинья, роющая носом землю: посмотри вверх. Солнце.

Сказать: "солнце устало", "теряет энергию" — *бессмыслица*. Поистине оно — *не истощается*, и все как-то — живет. Вот что если "не скучно" — то солнышко... Протуберанцы. Играет. Вулканы. "Корона солнечная" (видна в затмениях). И — эти таинственные "ультрафиолетовые лучи", от коих, говорят, — вся жизнь.

RELIGIO

Рост

было, есть, **будет**.
Почему оно "будет-то"?

Потому что — есть **рост...**

Возрастание, “больше”. В загадке “больше” лежит разгадка “прогресса”, “развития”.

Все “развертывается” из “точки” в “окружность”. И вот мир из “точки Бога” развернулся в “красоту-мироздание”.

И где же “в мире” нет “Бога”? И где же “в Боге” — нет “мира”?

И вот они связаны. “Religio”... Молитва. Нет вещи, которая бы не “молилась”, потому что она — “растет”. И знает, что “из точки” растет, из — *отцовской* точки.

И нет Бога не-Покровителя. Это — Провидение. Ибо точка знает свою окружность, как курица — порожденные ею яйца, на которых она сидит.

Так вышли небо, земля и звезды. Они “вышли”, потому что мир есть религия: — не потому, что “в мире зародилась религия”, а совсем и вовсе наоборот, совершенно и вовсе разное: потому-то и вышли “луна, звезды и земля”, и “закружилось все — в небо”, что в тайне и сущности мироздания — как вздох и тень — всегда лежала молитва.

Можно сказать, что вздох был “тем паром”, “туманом”, из которого и вышло “все”. Так что “все” — естественно и “задышало”, когда появилось.

Оно задышало, потому что появилось из “вздоха”. Потому что “вздох” — это “Бог”.

Бог — не бытие. Не всемогущество. Бог — “первое веяние”, “утро”. Из которого все — “потом”.

ТУФЛЯ

Неужели же, неужели все европейцы, — и первые ученые из них, и так вообще “толпа”, воображают об евреях и об отношении их ко Христу, что это *одно лишь упорство* народа, сделавшего ошибку, но затем — ни за что не желающего *поправиться*, сознать свою *ошибку*? Хотя “теперь-то уже очевидно все превосходство христианства над законом Моисеевым”? — “таким узким и таким *обрядовым?!!*” — “Евреи *ошиблись*, не признав своими же пророками предреченного Мессию, и просто в один скверный день бытия своего они перемешали туфли, одев правую ногу в левую туфлю, а левую ногу в правую туфлю”? “И вот с тех пор так и ходят, смеша людей и являясь посмешищем истории”...

Такова общая *концепция* европейцев и Европы об Иуде и юдаизме.

Между тем, неужели европейцам не приходит на ум, что “иначе переобув туфли”, — еврей каждый и единолично соделался бы в христианском мире равнозначащ Апостолу Павлу, и вообще — апостолам, которые “все были из иудеев”? И что это обещало бы и *исполнило* для них обетование Исаии: “будет время, и народы *понесут вас на плечах своих*”... И это, т. е. исполнение

обетования, — настало бы просто “завтра”, “завтрашний день”... Неужели же не очевидно, что если власть над целым миром, “которая вот в руках уже”, — евреи не берут, — если корыстные не берут богатства, славолюбивые не берут славы, то... то... то...

Это — оттого, что взять ее

грех

О, — такой *особенный* грех, в таком *исключительном* виде грех... И который не простится ни в жизни *этой*, ни — в *будущей*. Это уже не воровство, кража, жадность, лень, что мы делаем каждый в норках жития своего, а что-то планетное, космогоническое, страшное. “Перемена *судьбы* своей. “Обменять *душу* свою на богатства мира и на власть над миром”.

Как же было европейцам, и особенно мыслителям европейским, подумать не о “туфле на ноге”, о чем-то именно несоизмеримейшем... И — не об *упрямстве*, а о том: “Не **грех** ли это в самом деле?”

Если же “грех признать Иисуса”: то, сверкая молниями, сюда как было не оглянуться:

“А может быть, мы — и *приняли этот грех?*”

Ведь так именно и получено самим Христом: получена *власть над целым миром*, вопреки видимого, рассказанного в Евангелии, отречения; — *богатства целого мира*. *Власть над Европою*, европейцами, *мыслью их*, *смыслом их*.

Вдруг последний бедняк-еврей отказывается: — “*не надо* этого!” — “*не хочу* этого!”

Неужели не ясно, что это — не то же, что “туфля”.

Но, когда так: то не явно ли, что скорее уж мы “*обули не так* ноги”, — но что вот именно мы, по своей действительно лени, по своей засвидетельствованной лени, лишь держимся этого *косно* и *по традиции*.

№ 6—7

ПЕРЕЖИВАНИЕ

В Посаде мера картофеля (августа 12-го 1918 года) — 50 рублей. Услышал от старушки Еловой, что в гор. Александрове, близ Посада, мера— 6 руб. Спешу на вокзал справиться, когда в Александров отходят поезда. Отвечает мастеровой с бляхой:

— В *три*.

Я:

— Это по старому или по новому времени?

Часы по приказанию большевиков переведены в Ссргиеве на 2 часа вперед.

— Конечно, по новому. Теперь все по-новому. (Помолчав:) — Старое теперь все в могиле.

Да. Радуйся русская литература. И ржаная мука уже 350 р. пуд.

Бедные мрут. Богатые едва имеют силу держаться.

ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ЕВРЕЯМ НЕЛЬЗЯ УСТРАИВАТЬ ПОГРОМОВ?

В революции нашей в высшей степени “неясен” еврей. Как он во всем неясен и запутался во всей европейской цивилизации. Но до Европы — оставим. Нам важны “мы”. Посмотрите, как они трясутся над революцией. Не умно, злобовредно, но — трясутся. А ведь это и их “гешефтам” не обещает ничего. Даже обещает плохо. Почему же они трясутся? Я раз посмотрел в иллюстрированном журнале — Нахамкиса; и, против неприятного Ленина, сказал: “Как он серьезен” (хотел бы видеть в натуре).

Да, речь его против Михаила Александровича — нагла. Но ведь евреи и всегда наглы. В Европе, собственно, они не умеют говорить европейским языком, т. е. льстивым, вкрадчивым и лукавым, во всяком случае — вежливым, а орут как в Азии, ибо и суть азиаты, грубияны и дерзки. Это — гогочущие пророки, как я определил как-то. Они обо всякой курице, т. е. в торге, пророчествуют. “Ефа за ефу”, — “отчего ефу не выверяешь”, “отчего весы не верны” (Исаия, или который-то, раз попалось). Но... он действительно, действительно “припадал к ногам” — хотя быть “Стекловым”. Но это — не обман. Только отодвинутый “кончиком носка сапога”, он разъярился как “Нахамкис” и на Михаила Александровича, и — дальше... И возненавидел всю эту старую, “черствую Русь”.

Евреи... Их связь с революцией я ненавижу, но эта связь, с другой стороны, — и хороша; ибо из-за связи и даже из-за поглощения евреями почти всей революции — она и слиняет, окончится погромами и вообще окончится ничем: слишком явно, что “не служить же русскому солдату и мужику евреям”... Я хочу указать ту простую вещь, что если магнаты еврейства, может быть, и думают “в целом руководить потом Россией”, то есть бедные жидки, которые и соотечественникам не уступят русского мужика (идеализированного) и ремесленника и вообще (тоже идеализированного) сироту. Евреи сантиментальны, глуповаты и преувеличивают. Русский “мужичок-простачок” злобнее, грубее... Главное — гораздо грубее. “С евреями у нас дело вовсе не разобрано”. Еврей есть первый по культуре человек во всей Европе, которая груба, плоска и в “человечестве” далее социализма не понимает. Еврей же знал вздохи Иова, песенки Руфи, песнь Деворры и сестры Моисея:

— О, фараон, ты ввергнулся в море. И кони твои потонули. И вот ты — ничто.

Евреи — самый утонченный народ в Европе. Только по глупости и наивности они пристали к плоскому дну революции, когда их место — совсем на другом месте, у подножия держав (так ведь и поступают и чтут старые *настоящие* евреи, в *благородном*: “мы — рабы Твои”, у всего *настояще* Великого.

“Величит душа моя Господа” — это всегда у евреев, и всегда — в отношении к великому и благородному истории). О, я верю, и Нахамкис приложился сюда. Но — сорвалось. Сорвалось не-“величие”, и он ушел, мстительно, как еврей, — ушел “в богему”. “Революция так революция”. “Вали все”. Это жид и жидок и его нетерпеливость.

Я выбираю жидка. Сколько насмешек. А он все цимбалит. Насмешек, анекдотов: а он смотрит русскому в глаза и поет ему песни (на жаргоне) Заднепровья, Хохломании, Подолии, Волыни, Кавказа и, может быть, еще Сирии и Палестины и Вавилона и Китая (я слышал, есть китайцы-евреи, и отпускают себе косы!!!). Еврей везде, и он “странствующий жид”. Но не думайте, не для “гешефта”: но (наша Летопись) — “Бог отнял у нас землю за грехи наши, и с тех пор мы странствуем”.

И везде они несут благородную и святую идею “греха” (я плачу), без которой нет религии, а человечество было бы разбито (праведным небом), если бы “от жидов” не научилось трепетать и молить о себе за грех. Они. Они. Они. Они утерли соплю пресловутому европейскому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: “На, болван, помолись”. Дали псалмы. И Чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи. Но они пронесли печальные песни через нас, смотрели (всегда грустными глазами) на нас. И раз я на пароходе слышал (и плакал): “Купи на 15 коп. уксусной кислоты — я выпью и умру. Потому что он изменил мне”. Пела жидовка лет 14-ти, и 12-летний брат ее играл на скрипке. И жидовка была серьезна. О, серьезна... Я (в душе) плакал. И думал: “Как честно: они вырабатывают пятаками за проезд, когда у нас бедные едут фуксами, т. е. как-нибудь на казенный счет, или под лавкою, и вообще — на даровщинку”.

И вот они пели, как и Деворра, не хуже. Почему хуже? Как “На реках вавилонских”: — “О, мы разобьем детей твоих о камень, дочь вавилонская”. Это — Нахамкис. Нахамкис кричит: “Зачем же лишили его права быть Стекловым”, “благородным русским гражданином Стекловым”, и так же стал “ругать зверски Михаила Александровича”, как иудеянки хотели (ведь только *хотели*) “разбивать вавилонских детей о камня” (вавилонский жаргон).

Это — гнев, ярость: но оттого-то они и живут и не могут, и не хотят умереть, что — горячи.

И будь, жид, горяч. О, как Розанов — и не засыпай, и не холодей вечно. Если ты задремлешь — мир умрет. Мир жив и даже не сонен, пока еврей “все одним глазком смотрит на мир”. — “А почем нынче овес?” — И торгуй, еврей, торгуй, — только не обижай русских. О, не обижай, миленький. Ты талантлив, даже гениален в торговле (связь веков, связь с Финикией). Припусти нас, сперва припусти к “Торговле аптекарскими товарами”, к аптекам, научи “синдикатам” и, вообще, введи в свое дело ну хоть из 7—8%, а себе — 100, и русские должны с этим примириться, потому что ведь не они изобретатели. Подай еврею, подай еврею, — он творец, сотворил. Но потом подай и русскому. Господи: он нищ.

О, довольно этой “нищенской сумы”, этого христианского нищенства, из которого ведь выглядывают завидующие глазки. Но оставим. И вернемся к печальным песням Израиля.

И вот он играет, мальчишка, а девчонка поет. Как я слушал эту песню безумную, на Волге. И дети мои слушали. И они почти плакали. Впечатлительны все. “Ведь у вас был Самсон, еврей?” Моргает.— “Помните, Самсон и Далила?” — “Как они сражались с филистимлянами?” — “Сражались, о, о...” — “Ну?” — “Теперь одна стена плача. Римляне разорили все”...

И они трясут кулаками по направлению Рима. “У... У... У...” Но, еврей, утешься: давно прошли легионы Рима; от Рима, “того самого”, осталось еще меньше, нежели осталось от Иерусалима; он еще гораздо глубже погребен. А вы все еще спрашиваете у ленивого хохла: “А все-таки, почему же пшено?”

Русские в странном обольщении утверждали, что они “и восточный, и западный народ”, — соединяют “и Европу, и Азию *в себе*”, не замечая вовсе того, что скорее они и *не* западный, и *не* восточный народ, ибо что же они принесли Азии, и какую роль сыграли в Европе? На востоке они ободрали и споили бурят, черемисов, киргиз-кайсаков, ободрали Армению и Грузию, запретив даже (сам слушал обедню) слушать свою православную обедню по-грузински. О, о, о... Сам слушал, сам слушал в Тифлисе. В Европе явились как Герцен и Бакунин и “внесли социализм”, которого “вот именно не хватало Европе”. Между Европой и Азией мы явились именно “межеумками”, т. е. именно нигилистами, не понимая ни Европы, ни Азии. Только пьянство, муть и грязь внесли. Это действительно “внесли”. Страхов мне говорил с печалью и отчасти с восхищением: “Европейцы, видя во множестве у себя русских туристов, поражаются талантливостью русских и *утонченным их развратом*”. Вот это — так. Но принесли ли мы семью? добрые начала нравов? Трудоспособность? Ни-ни-ни. Теперь, Господи, как страшно сказать... Тогда как мы “и не восточный, и не западный народ”, а просто ерунда, — ерунда с художеством, — евреи являются на самом деле не только первенствующим народом Азии, давшим уже не “кое-что”, а весь свет Азии, весь смысл ее, но они гигантскими усилиями, неутомимой деятельностью становятся мало-помалу и первым народом Европы. Вот! Вот! Вот! Этого-то и не сказал никто о них, т. е. “о соединительной их роли между Востоком и Западом, Европой и Азией”. И — пусть. О, пусть... Это — да, да, да.

Посмотрите, встрепенитесь, опомнитесь: несмотря на побои, как они часто любят русских и жалеют их пороки, и никогда “по-гоголевски” не издеваются над ними. Над пороком нельзя смеяться, это — преступно, зверски. И своею и нравственною, и культурною душою они никогда этого и не делают *Я за всю жизнь никогда не видел еврея, посмеявшегося над пьяным или над ленивым русским*. Это что-нибудь значит среди оглушительного хохота самих русских над своими пороками. Среди наших очаровательных: “Фон-Визин, Грибоедов, Гоголь, Щедрин, Островский”. А вот слова, которые я слышал: “Послушайте, как вы смотрите на русского священника?” — “При всех его недостатках, я все-таки люблю его”. — “Люблю? Это — мало: можно ли *не чтить его*: он получает корку хлеба, т. е. сельский священник, а сколько труда, сколько труда он несет”. Это доктор Розенблюм, в Луге, в 1910 г. Я думал, он — немец. Расспросил — еврей. Когда разбиралось дело Панченко (“Де-Ласси и Панченко”), пришлось при экспертизе опросить какого-то врача-еврея, и он сказал серьезно: “Я вообще привык думать, что *русский врач есть достойное и нравственное* лицо”. Я так был поражен обобщенностью вывода и твердостью тона. И за всю жизнь я был поражаем, что несмотря на побои (“погромы”), взгляд евреев на русских, на душу русскую, на самый даже несносный характер

русских, — уважителен, серьезен. Я долго (многие годы) приписывал это тому, что “евреи хотят еще больше развратиться русским”: но покоряет дело истине своей, и я в конце концов вижу, что это — не так. Что стояло безумное оклеветание в душе моей, а на самом деле евреи уважительно, любяще и трогательно относятся к русским, даже со странным против европейцев предпочтением. И на это есть причина: среди “свинства” русских есть, правда, одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — то же. И вот этою чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек.

Огромный красивый солдат, в полусумраке уже, говорил мне:

— Как отвратительно... Как отвратителен тон заподозривания среди этого Совета солдатских и рабочих депутатов. Я пришел в Таврический Дворец и не верю тому, что вижу... Я пришел с верою — в народ, в демократию...

Так как я пришел “без веры”, то горячо и как бы “хватаясь за его руку”, спросил у него:

— Да *кто* вы?

— Солдат из Финляндии... Стоим в Финляндии... Я, собственно, еврей...

— Я — русский. Русский из русских. Но я хочу вас поцеловать.— И мы крепко поцеловались.

Это было, когда я захотел посмотреть “солдатских депутатов” в марте или апреле 1917 года.

В том же месяце, но много позже:

Угол Литейной и Бассейной. Трамвай. Переполнен. И старается пожилой еврей с женою сесть с передней площадки, так как на задней “висят”. Я осторожно и стараясь быть не очень заметным — подсаживаю жену его. Когда вдруг схватил меня за плечо солдат, очевидно нетрезвый (“ханжа”):

— С передней площадки запрещено садиться. Разве ты не знаешь?!?!..

Я всегда поражался, что эти господа и вообще вся российская публика, отменив у себя царскую власть “порывом”, никак не может допустить, чтобы человек, тоже “порывом”, вскочил на переднюю площадку вагона и поехал, куда ему нужно. Оттолкнув его, я продолжал поддерживать и пропихивать еврейку, сказав и еврею: “Садитесь, садитесь скорее!!”

Мотив был: еврей торопливо просил пропустить его “хоть с передней”, ибо он спешил к отходу финляндского поезда. А всякий знает, что значит “опоздать к поезду”. Это значит “опоздать и к обеду”, и пошло расстройство всего дня. Я поэтому и старался помочь.

Солдат закричал, крикнув и другим тут стоявшим солдатам (“на помощь”): “Тащите его в комиссариат, он оскорбил солдата”. Я, правда, кажется назвал его дураком. Я смутился: “с комиссариатом я ко всякому обеду у себя опаздаю”

(а тоже спешил). Видя мое смущение и страх, еврей вступился за меня: “Что же этот господин сделал, он только помог моей жене”.

И вот, я не забуду этого голоса, никогда его не забуду, потому что в нем стоял нож:

— Ж-ж-ид прок-ля-тый...

Это было так сказано.

И как музыка, старческое:

— Мы уже теперь все братья (“гражданство”, “свобода” — март): зачем же вы говорите, так (т. е. что “и еврей, и русский — братья”, “нет больше евреев как чужих и посторонних”).

Я не догадался. Я не догадался...

Я слышал всю музыку голоса, глубоко благородного и глубоко удивляющегося.

Потом уже, назавтра, и даже “сегодня” еще, я понял, что мне нужно было, сняв шапку, почти до земли поклониться ему и сказать: “Вот я считаюсь врагом еврейства, но на самом деле я не враг: и прошу у вас прощения за этого грубого солдата”.

Но солдат так кричал и так пытался схватить и действительно хватал за руку со своим “комиссариатом”, что впопыхах я не сделал естественного.

И опять этот звук голоса, какого *на русской улице*, — уж извините: на русской пох...ной улице, — не услышишь.

Никогда, никогда, никогда.

“Мы уже теперь все братья. Для чего же вы говорите так?”

Евреи наивны: евреи бывают очень наивны. Тайна и прелесть голоса (дребезжащего, старого) заключалась в том, что этот еврей, — и так, из полубразованных, мещан, — глубоко и чисто поверил, со всем восточным доверием, что эти плуты русские, в самом деле “что-то почувствовав в душе своей”, “не стерпели старого произвола” и вот “возгласили свободу”. Тогда как, по заветам русской истории, это были просто Чичиковы, — ну “Чичиковы в помеси с Муразовыми”. Но уже никак не больше.

Форма. Фраза.

И вдруг это так перерезало музыкой. Нельзя объяснить, не умею. Но даже до Чудной Девы мне что-то послышалось в голосе. “Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем”.

Я хочу то сказать, что все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко сравнительно с еврейским. Тут тайна Сирии и их жарких стран. Тут та тайна еще, что они Иова слушают не две тысячи лет, а пять тысяч лет, да, очевидно, и

слушают-то другим ухом. Ах, я не знаю что... Но я знаю, что не в уме евреев дело, не в деятельности и деловитости, как обыкновенно полагают, а совершенно в ином... Дело заключается, или почти должно заключаться, в какой-то таинственной Суламифи, которая у них разлита во всем, — в ином осязании, в иной восприимчивости к цветам, в иной пахучести, и — как человека “взять”, “обнять”, “приласкать”. Где-то тут. “От человека к человеку”. Не “в еврее”, а в “двух евреях”. И вот тут-то они и разливаются во всемирность.

“Русские — общечеловеки”. А когда дело дошло до Армении, — один министр иностранных дел (и недавний) сказал: “Нам (России) нужна Армения, а вовсе не нужно армян”. Это — деловым, строгим образом. На конце тысячелетия существования России. Т. е. не как восклицание, гнев, а (у министра) почти как программа... Но ведь это значит: “согнал бы и стер с лица земли армян, всех этих стариков и детей, гимназистов и гимназисток, если бы *не было неприлично и не показалось некультурно*”. Это тот же Герцен и тот же социализм. Это вообще русский нигилизм, очевидно *вековечный* (Кит Китыч, о жене своей: “хочу с кашей ем, хочу со щами хлебаю”). Опять, опять “удел России”: — очевидно, не русским дано это понимание в удел. Несчастные русские, — о, обездоленные... Опять же евреи: на что — погромы. Ведь это — ужас. И вот все же они нашли и после них все слова, какие я привел, — и порадоваться русской свободе, и оценить русского попа. Да и вообще, *злого глаза, смотрящего украдкой или тайно за спиной русского, я у еврея не видал*.

Я и хочу сказать, что дело заключается в какой-то деловой всемирности, — не отвлеченной, не теоретической, а с другой стороны, — не вздыхающей и слезливой, а практической и помогающей. Самый “социализм их”, как я его ни ненавижу, все-таки замечателен: все-таки ведь социализм выражает мысль о “братстве народов” и “братстве людей”, и они в него уперлись. Тут только наивность евреев, которые решительно не так умны, как европейцам представляется, как европейцы пугаются. Они взяли элементарно, первобытно, высчитывая по пальцам: “кто с чем, с каким *имуществом* живет”, и не догадываясь, что все зависит от “*как этот человек живет*”: что можно жить “с большим богатством — *как в аду*” (наши Кит Китычи) и можно жить на кухне, “в прислугах” — “счастливее господ”. Решительно я замечал, как многие “господа” живут печальнее, грустнее и раздраженнее своих прислуг, которые — по самым лицам их видно — живут “*благословясь*” и “в *благословении*”. Социализм вообще плосок, доска, — и безмерная наивность евреев, что они восприняли его, что они поверили в такой глупый счет арифметических машин. И я верю, что это непременно и скоро кончится. *Им ли, им ли*, после *их ли истории* и судеб, — верить этому... Им ли, которые в неге реализма (“*будь все как есть*”) произнесли: “льна курящегося *не погаси*” и “трости надломленной *не переломи*”, — и которые, если кто богатый обеднеет у них, то община обязана не только содержать его, но и купить ему карету, если прежде была у него карета: дабы он не испытывал перемены в самом уровне своего положения и *не скорбел через самую мысль даже о нем*... Это именно нега благородства и человечности, и выраженная кухонным, т. е. реальнейшим способом. “Так несчастно живут в их гетто” и их “свиные кагалы”. (Мне сообщил это еврей, торговец дамскими ботинками, в совершенно темном вагоне, в Спб., в Варшавском вокзале: он был, что такая у них редкость, немного не трезв.) Вот! вот! вот! настоящая идея уравнивания бедного и богатого: помощь бедному и *помощь богатому*, дабы оба держались “на том же уровне”, без ощущения разницы температур *привычной жизни*, жизни просто *от роду*. О, гений

универсальности и чуткости. Богач может также скорбеть, *и страдания его могут быть величайшие*. Нельзя завистливым глазом смотреть на богатство. Это — христианство. И чуть ли именно по зависти, а не по “благости” — социализм есть воистину христианское явление. Самый “социализм” или “социализация” — без христианства — выразился бы, пожалуй, в другом, иначе: обедаю сам, но и еще лишнему, гостю, *чужому с улицы* — даю обед, сажаю с собою его за стол, *не отягощаясь*, что это — чужой. Социализм выразился бы *близостью*, социализм выразился бы *любовью*: а не — “перерву горло” у солдата, закричавшего: “Жид прокля-тый”. Словом, социализм выразился бы тоже одним из таинственных веяний Суламифи, каким — мы не знаем, если бы он был оригинально-евреен, а не подражательно-евреен (от европейцев). Да вот: “Дай я *умою ноги тебе*”, о нищем, о бедном. Тут именно “дотронуться”, дотронуться *до бедного*. Как я и сказал: “Надо пощупать кожу его”.

Суть вещей. Суламифь. Ведь вся “Песнь песней” — пахуча. Тайна вещей, что он не “добр”, а — нежен. Добро — это отвлеченность. Добро — это долг. Всякий “долг” надоест когда-нибудь делать. Тайна мира, тайна всего мира заключается в том, чтобы *мне самому было сладко делать сладкое*, и вот тут секрет. “Сними обувь, и я, взяв холодной воды, — проведу по подошвам твоим, по подъему ноги, по пальцам”. Тут так близко, что уже есть любовь. “Я замечу старую морщину у старика — да и так, может выйти случай, шутка около омовения ног”. Это вообще так близко, что не может не завязаться шутка и анекдот “около ноги”. Ну, вот, видите: а раз — шутка и анекдот, то уже никогда не выйдет холодного, холодного потому — что формального, *liberté, fraternité, égalité*. К великим прелестям еврейской истории относится то, что при всей древности и продолжительности ее — никогда у них даже не мелькнуло сказать такой пошлости. Такой неверности и такой несправедливости. Ибо ведь нужно и истину и справедливость перевернуть вверх дном, дабы между неодинаковыми, ничего между собою не имеющими общего людьми установить *égalité*, да и еще родственное — *fraternité*.

Прямо чувствуешь франтов и маркизов XVIII века, *fin du siècle XVIII-ème*. А это:

“Около тебя *раба твоя, Руфь...*” — “И *будет мне по глаголу твоему*”... Какие все тоны! Ты плачешь, европеец. Плачь же. Плачь бедными своими глазами. Плачь: потому что в оригинальной твоей истории ты вообще не сотворил таких словооборотов, сердцеворотов, умоворотов. Вся душа твоя — площе, суше, холоднее. О, другое солнце, другое солнце. Другая пахучесть, иные травы. И — посмотрите, королевы ли, маркизы, жены, любовницы: ведь Суламифь — всего только любовница. Любовница? И никто не отрицает. Но жены стоят и рыдают: “О, как хотели бы мы только побыть такою любовницею”. И вот — посмотрите чудо, чудо уже в нашей истории и “в строгостях наших”: и церковь не отрицает, что это — только любовница. Но и она рыдает и говорит:

“Какое чудо... Я знаю — *кто* она, эта Суламифь: и — не осуждаю, и обнимаю ноги ее, потому что она вся прекрасна и благородна, и нет лучшей между женами по чистоте мыслей и слов”.

И чувствуете ли вы, европейцы, что вот уже и весь мир преобразен. Нет ваших сухих категорий, нет ваших плоских категорий. Где юриспруденция? где

законы? Нет, где — гордость? А из нее у Европы — все. Вся Европа горда, и из гордости у нее все. Не надо! Не надо! Небо, небо! Неба дай нам. А небо...

Оно там, где рабство. Где рабы счастливее господ. А “где рабы счастливее господ” — это тайна Израиля. Ибо поистине Суламифь была счастливее Соломона, и Агарь прекраснее Авраама. Вот.

ЕЩЕ О “СЫНЕ” В ОТНОШЕНИИ “ОТЦА”

...В сынах человеческих, — сынах *земных* и *несовершенных*, — так это и происходит, что “сын **рождается**”, если отец был не **полон**. Если он не кругл, не закруглен (зерно, вид зерна, онтологическое основание закругленности **всяких вообще зерен**), если он — **угловат**.

Сын, дети в сынах человеческих всегда не **походят** на отца и скорее **противолежат** ему, нежели его повторяют собою. Мысль о *тавтологии* с отцом, *неотличимости* от отца противоречит закону космической и онтологической целесообразности. Повторение вообще как-то глупо. Онтологически — оно невозможно.

Посему, кто сказал бы: “Я и отец — **одно**”, вызвал бы ответом недоумение: “К чему?” — “Зачем *повторение*?” Нет явно, что сын мог бы “прийти”, только чтобы “восполнить отца” как несовершенного, лишенного полноты и вообще недостаточного. Без онтологической недостаточности отца не может быть сына, хотя бы отец и был “вечно рождающим” и даже только в сути своей именно “рождающим”. Но он “рождает мир” и, наконец, имеет дар, силу и красоту рождения, хотя бы даже без выражения ее на земле или в истории. Вернее, он именно *продолжает* и доселе сотворять мир, *соучаствуя* всем *тварям* без исключения в родах их: составляет *нерв* и *нить* ихних родов, от цветка и до человека, без преимущества цветку или человеку. Но чтобы “появился сын” как имянность и лицо, то это могло бы быть только, чтобы сказать нечто *новое* *земле* и *совершить* на ней тоже *новое*. Без новизны нет сына. Сказать *иное* от отца и именно отличное от отца — вот для чего мог бы “прийти” сын. Без противоречия отцу не может быть сына.

Так это и изложено в самом Евангелии. “Древние говорят... **а [но]** — Я говорю”. На самом деле это говорили не древние *люди*, но — *закон* их, вышедший от Отца. Возьмем же “око за око” и “подставь ланиту ударившему тебя”. “Око за око” есть основание онтологической справедливости наказания. Без “око за око” — *бысть* преступление и *несть* наказания. А “наказание” даже в упреке совести (и в нем сильнее, чем в физике) — оно **есть** и оно *онтологично миру*, т. е. однопространственно и одновременно миру, в душе его лежит. И оттого, что оно так *положено* в мире, положено Отцом небесным, — Христова “ланита”, в противоположность Отцовскому (как и *езде*) *милосердию*, — довела человечество до мук отчаяния, до мыслей о самоубийстве, или — до бесконечности обезобразила и охаотила мир. Между прочим, на это показывают слова Апостола Павла: “*Бедный* я человек, кто *избавит* меня от *сега* тела смерти”. Это — прямо вопль Каина, и относится он, бесспорно, к вине отмены обрезания, т. е. к разрушению им, уже совершенно явно, всего Ветхого Завета, при полном непонимании этого Завета. Как и везде в Евангелии, при “пустяках” ланиты, делая пустое облегчение человеку, — Христос *на самом деле невыносимо* *отяготил* человеческую жизнь, усеял ее

“терниями и волчцами” колючек, чего-то рыхлого, чего-то несбыточного. На самом деле, “справедливость” и “наказание” есть то “обыкновенное” и то “нормальное” земного бытия человеческого, без чего это бытие потеряло бы уравновешенность. Это есть то ясное, простое и вечное, что именно характеризует “полноту” отца и его вечную основательность, — кончающую короткое коротким, — на место чего стали слезы, истерика и сантиментальность. Настала Христова мука, настала Христова смута.

ПРИКАЗ № 1

превративший одиннадцатью строками одиннадцатимиллионную русскую армию в труху и сор, не подействовал бы на нее и даже не был бы вовсе понят ею, если бы уже $\frac{3}{4}$ века к нему не подготовляла вся русская литература. Но нужно было, чтобы — гораздо ранее его — начало слагаться пренебрежение к офицеру как к

дураку
фанфарону
трусцу,

во всех отношениях к —

ничтожеству

и отчасти к

вору.

Для чего надо было сперва посмотреть на Скалозуба

в театре

и прочитав, как

умывался

генерал Бетрищев, пишущий “Историю генералов отечественной войны”, — у Гоголя, фыркая в нос Чичикову. Тоже — и самому Толстому надо было передать, как генералы храбрятся по виду и стараются не нагнуться при выстреле, но нагибаются, вздрагивают и трясутся в душе и даже наяву.

Когда вся эта литература прошла, — прошла в гениальных по искусству созданиях “русского пера”, — тогда присяжный поверенный Соколов “снял с нее сливки”. Но еще более “снял сливки” Берлинский Генеральный Штаб, охотно бы заплативший за клочок писанной чернилами бумажки всю сумму годового дохода Германии за год.

“Приказ № 1” давно готовился. Бесспорно, он был заготовлен в Берлине. Берлин вообще очень хорошо изучил русскую литературу. Он ничего не сделал иного, как выжал из нее сок. Он отбросил целебное в ней, чарующее, истинное. “На войне как на войне...” “Эти ароматы нам не нужны”. “Нам, — немцам на реке Шпрее...”

...От ароматов и благоуханий он отделил ту каплю желчи, которая, несомненно, содержалась в ней. Несомненно — содержалась. И в нужную минуту поднес ее России.

Именно ее.

Ее одну.

Каплю, наиболее роскошно выработанную золотою русской литературой.

“Пей. Ты же ее любила. Растила. Холила”.

Россия выпила и умерла.

Собственно, никакого сомнения; что Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России ни одного нет нелитературного происхождения.

Трудно представить себе... И, однако, — *так*.

* * *

К читателю, если он друг. — В этот страшный, потрясающий год, от многих лиц, и знакомых, и вовсе неизвестных мне, я получил, по какой-то догадке сердца, помощь и денежную, и съестными продуктами. И не могу скрыть, что без таковой помощи я не мог бы, не сумел бы перебыть этот год. Мысли, и страхи, и тоска самоубийства уже мелькали, давили. Увы: писатель — сомнамбула. Лазит по крышам, слушает шорохи в домах: и не поддержи или не удержи его кто-нибудь за ноги, если он проснется от крика к действительности, ко *дню и пробуждению*, он сорвется с крыши дома и разобьется насмерть. Литература — великое, само-забвенное счастье, но и великое в *личной* жизни горе. Черные тени, уголь: но и молодая эос (заря) эллинов. За помощь — великая благодарность; и слезы не раз увлажняли глаза и душу. “Кто-то помнит, кто-то *думает*, кто-то догадался”. “Сердце сердцу *весть* сказало”. Тоже в своем роде сомнамбулизм пространств, времен и уже читательской души и ее *благородных сновидений*. Естественно, каждому *своя душа открыта*, и о своей душе я знаю, как она ласкает, и *бережет* (главное!), и хочет унежить и у-интимить (сделать интимною) душу читателя. “Интимное, интимное берегите: всех сокровищ мира дороже интимность вашей души! — то, чего о душе вашей никто не узнает!” На душе читателя, как на крыльях бабочки, лежит та нижняя *последняя* пыльца, которой не смеет, *не знает* коснуться никто, кроме Бога. Но вот и обратно: значит, интимность души читателя взяла внутрь себя интимную душу писателя. “Как ты тревожен, мой автор. Откуда у тебя такие сны и страдания?”

О чем ты воешь, ветер ночной,
Какую навеваешь *быль*?

Устал. Не могу. 2—3 горсти муки, 2—3 горсти крупы, *пять* круто испеченных яиц может часто спасти *день мой*. Что-то золотое брезжится мне в будущей России. Какой-то в своем роде “апокалипсический переворот” уже в воззрениях исторических не одной России, но и Европы. Сохрани, читатель, своего писателя, и что-то завершающее мне брезжится в последних днях моей жизни.

В. Р. Сергиев Посад, Московск. губ., Красюковка, Полевая ул., дом свящ. Беляева.

№8—9

Временно выпуски 6-й и 7-й задерживаются.

ХРИСТИАНИН

Точно он больной и всех заподозривает, что они больны еще какими-то худшими болезнями, нежели он сам. Только к одному, к власти, он не чувствует подозрения. Власть всегда добра, блага, и, собственно, потому, что он ленив и власть обещает ему его устроить как калеку.

Благотворение, которое везде восполняет недостаток, у христиан есть нормальное положение. Тут все благотворят “нищую братию”, и какая-то нищета имущества, тел и духа — вот христианство. “Худощавые люди”.

Когда славяне позвали “варяг из-за моря” управлять себя, управлять своею “обширною и богатою землею”, они показали себя какими-то калеками уже до рождения. Ужасно.

Ужасно и истинно. И до сих пор, до нашего даже времени, я наблюдал, что все получше землицы, “покруглее”, поудобнее местоположением — в руках немцев или евреев. “Дача Штоля”, “имение Винклера”. За 15 000 Штоль скупил леса и земли около трех огромных озер, и уже через семь лет ему предлагали за них около 120 000, и он не продал. Он знал, что внук его возьмет за них миллион. Это точь-в-точь “история варягов”. Продал, без сомнения, помещик, обеспечивавший свою кухарчонку с детьми. “Ей больше 15 000 не надо. А значит — и мне”; “я же проживу при ней. Она меня, кстати, пускает и в картишки перекинуться”. Поэты.

У нас везде Нали и Дамаянты. Художественная нация. С анекдотом.

И вот так мы живем. Но вернемся к христианам. Нет ясного, доброго, веселого глаза. Все всех осматривают, все всех подозревают. Все о всех сплетничают. “Христианская литература” есть почти “история христианской сплетни”. Посмотрите беллетристику, театр. Это почти сплошное злословие.

Как ужасно. И еще как ужаснее любить все это. Стонаю и люблю, стоною и люблю. Привычка, традиция. Ах, “мои бедные родители”.

LA DIVINA COMEDIA

С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историю железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось.

СТРАННОСТЬ

Много в Евангелии притчей, но где же молитва, гимн, псалом? И почему-то Христос ни разу не взял в руки арфу, свирель, цитру и ни разу не “воззвал”? Почему Он не научил людей молиться, разрушивши в то же время культ и Храм? И о Храме явно сказав, что Он его разрушит: как и об Иерусалиме — тоже велительно предсказав, что он падет и разрушится. Разрушится такое средоточие молитв и молитвенности, какого, конечно, не было нигде еще на земле. Почему-то таинственно и неисповедимо людям никогда не пришло на ум, что Евангелие есть религиозно-холодная книга, чтобы не сказать — религиозно-равнодушная. Где не поют, не радуются, не восторгаются, не смотрят на Небо; и где вообще как-то уж очень “не похоже на рай первобытных человеков”. Не пришло на ум никому, что если чем более всего Евангелие удивляет и поражает, то это религиозною трезвостью; близкою уже к рационализму; и где “пары” не идут ни “сверху”, ни “снизу”. “Притча”, “притча”, — “вышел сеятель сеять в поле”, — все это как будто уже приурочено для Гарнака и священника Григория Петрова; рассказ “из житейского” на поучительную обыденную “мораль”... Сверх Гарнака надо бы еще прибавить и Фаррариа: но где же тут религия? Где главное он, псалом — существо всего дела? И этот Царь, *неудержимо поющий Богу?*

“Как лань желает на источники вод, так душа моя тоскует по Тебе, Боже...”

На большом, все-таки очень большом протяжении Евангелия только всего одна молитва в семь строк. И как она вся последовательна, отчетлива. Это — логика, а не молитва; с упоминаниями о том-то и том-то, но без умиления, без йоты восторга. Это какое-то продолговатое “дважды два = Боже”. Разве это то, что “молитва мытаря”, великая, прекрасная, *единственная*. Но возьмите же глаза в руки: это вовсе *не молитва Христа*, а случайно подслушанная евангелистом *именно молитва человека и мытаря*. Не поразит ли каждого, что у Христа в молитве “Отче наш” — *меньше ноумена молитвенности*, нежели у этого бедного человека. И вообще, мы не слышим молитв и любящих излияний сердца именно Христа к Отцу Своему, что так естественно бы от Сына, что так ожидалось бы от Сына. Люди молятся, но Христос не молится. Молится где-то фарисей, в отодвинутости, в отстранении, в какой-то *гадливой тени*, и как это параллельно и как бы “поддерживает” уже предрешенное разрушение Храма, и Иерусалима, и всего племени Израильского. “*Так они молились, и чего же ждать от этого племени?*” Между тем *теперь* мы уже знаем Симона Праведного, бен-Иохая, равви Акибу. Они молились *вовсе не “так”*... Да что, Иона: даже “попав в чрево китово”, он все-таки “встал на молитву” и “воззвал”: не был же и он фарисеем и не для фарисейства он молился. Иона невидимо и прекрасно защищает, **и — фарисея**. Евреи молились *вовсе не так*, как описано в Евангелии, и в Евангелии содержится клевета на молитвы евреев. Эти уторопленные жидки, и Симон Праведный, и Акиба, бегали, суетились, кричали, кричали на народ, но никогда “торжественно не становились в позу” и не произносили слов, воистину проклятых. Единственно, в чем они “прегресли против Евангелия”, — это что так любили и Храм, и город, и народ...

Какое-то странное угашение молитвенности... Сколько путешествуют в “Деяниях” и — нет чтобы помолился кто, отправляясь в путь; и нет чтобы помолился кто, вернувшись благополучно с дороги. А столько хлопот. Нельзя

не заметить насмешливо: “Ты слишком хлопчешь. Марфа, — присядь к ногам Отца Небесного”... Но именно Отец Небесный загадочно уже на ум никому не приходит: только — **Сын**, везде — **Сын**, заменяющий Отца... Между тем что же такое *молитва*, как не исчерпывающее отношение дитяти-человека к Богу! И вот именно она-то таинственно исчезает. Только рассуждают. И приходит на ум, что арфу Давида, лиру Аполлона и свирель Марсия, — *мы окидывает весь древний мир*, — отныне заменят богословствующие споры. И что, пожалуй, тайный-то ноумен Евангелия и всего “дела евангельского” и лежал в перемене — музыки молитвы на “*cogito ergo sum*” богословия.

PERTURBATIO AETERNA

— “Аз же глаголю вам: **первые да будут последними, а последние станут первыми**”.

И спросили Его ученики: “Но, Господи: до какого *предела* и в каких *сроках*?»

И паки рек:

“— Первые да будут последними и последние первыми”.

“— Но, учитель благой: если так, то какое-же царство устоит, и какая земля останется тверда, если все станет класться верхом вниз, а снизу — вверх?”

И рек снова: — “Первые да будут последними, а последние станут первыми”.

Ученики же глаголаша:

“— Но если это не медь бряцающая и не кимвал звенящий: то как вырасти овощу, если будет не гряда с *лежащею* землею, а только *мелькание* заступа, переворачивающего землю со стороны на сторону?”

И паки еще рек: “Аз же истинно, истинно глаголю вам: первые станут последними, а последние первыми”.

И убоялись ученики Его. И отойдя — совещались. И качали головами. И безмолвствовали.

.....

Но зашумела история: заговоры, бури, перевороты. Смятения народных волн. И все усиливаются подняться к первенству. И никто долго не может его удержать, а идет ко дну.

.....

Воистину: “Пошли серп твой на землю: и пусть пожнет растущее на ней” (Апокал.).

“И был плач и скрежет зубовный. И земля была пожата”.

.....

.....

“Он (Раскольников) пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. *Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и неведомой моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же сумасшедшими и бесноватыми.* Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, — всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. *Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром.* Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но *армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга.* В городах целый день били в набат: созывали всех; но *кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться. Остановилось земледелие.* Кое-где люди *сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расстраиваться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались.* Начались пожары, начался *голод.* Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти во всем мире могли только несколько человек, — *это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю*” (“Преступление и наказание”, издание 1884 года, страницы 500—501).

.....

.....

“И вышедши, Иисус шел от Храма. И приступили ученики Его, *чтобы показать Ему здания Храма*”.

Иисус же сказал им: “*Видите ли все это? Истинно, истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено*” (Евангелие от Матфея, глава 24, 1—2).

.....

.....

И спросил Его Иоанн: “Господи, кто *предаст Тебя?*” Иисус же ответил: — “Кому Я, обмакнув в соль, подам кусок хлеба — тот предаст Меня”. И,

обмакнув, подал Иуде. **И тотчас вошел Сатана в душу Иуде.** *И он, встав, пошел и предал Его*”.

.....

.....

“Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда...”

.....

.....

“Не спешите колебаться умом, и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания как бы нами посланного, будто бы наступает уже день Христов.

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели:

Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом, или святынею, так что в Храме Божиим сядет Он, как Бог, выдавая Себя за Бога.

И ныне вы знаете, что не допускает открыться Ему в свое время.

Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.

И тогда откроется беззаконник — тот, *Которого приход по действию сатаны будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными.*

И со всяким неправедным обольщением погибающих” (Второе послание Апостола Павла к Фессалоникийцам. Глава 2, 2—10).

.....

.....

“Я испытал тех, которые **называют себя Апостолами,** а они не таковы, и **нашел, что они — лжецы.**

И они говорят о себе, что они — иудеи, но они не таковы, а — **сборище сатанинское”** (Апокалипсис, глава 2, 2—3).

НАДАВИЛО ШКАФОМ

Нельзя иначе, как отодвинув шкаф, спасти или, вернее, избавить от непомерной вечной муки целую народность, 5—8—10 миллионов людей, сколько — не знаем: но ведь даже *и одного человека задавить — страшно.* И вот он хочет дышать и не может дышать. “Больно”, “больно”, “больно”. Но между тем кто же отодвинет этот шкаф? Нет маленькой коротенькой строчки “из истории христианства”, которая не увеличивала бы тяжести давления.

Кто может отодвинуть блаженного Августина? Такой могучий, исключительный ум. Кто может отодвинуть Иоанна Златоуста? Одно имя показывает, каков он был в слове. И Апостола Павла? И уж особенно — Самого?

Между тем уже один тот факт, что “живой находится под шкафом”, соделывает какое-то содрогание в груди. “Как живой под шкафом?” “Как он попал туда?” Но — “попал”. Притом — кто? Любимейшее дитя Божие, которое от начала мира, от создания мира, было любимейшим. И никогда Бог от него не отвращался, и он Бога никогда не забывал.

“Человек под шкафом”. — “Человек в море”. И корабль останавливается, чтобы вытащить из моря. Бросают сети, канаты, плавательные круги. “Вытащен”. “Спасен”. И все радуются. “Человек спасен”. И не сетуют, что “корабль задержался”, что “долго ждали”. Лишь бы “спасен был”.

Посему “ход христианского корабля” уже потому представляется странным, что “человек в море”, и никто не оглянется, все его забыли. *Забыли о человеке*. О, о, о...

Но “начать отодвигать шкаф” и значит — “начинать опять все дело сначала”. “Не приняли Христа, а он — Бог наш”. Как можно *нам-то колебаться в принятии Христа?*

Надавила и задавила вся христианская история. Столько комментариев. Столько “примечаний”. Разве можно сдвинуть такие библиотеки. На евреев давит Императорская Публичная Библиотека, British Museum. И в Испании — Университет в Саламанхе, в Италии — “Амвросианская библиотека” в Венеции. Господи, — все эти библиотечные шкафы надавили на грудь жидка из Шклова. А ведь знаете, как тяжелы книги.

Но человек не умирает и все стонет. Хоть бы умер. Цивилизации легче было бы дышать. А то невозможно дышать. Все стоны, стоны.

Странная стонущая цивилизация. *Уже зло пришествия Христа выразилось в том, что получилась цивилизация со стоном*. Ведь Он проповедовал “лето благоприятное”. Вот в этом, по крайней мере, — Он ошибся: никакого “лета благоприятного” не получилось, а вышла цивилизация со стоном.

Какая же это “благая весть”, если “человек в море” и “шкаф упал на человека”?

Нет: во всем христианстве, в христианской истории, — и вот как она сложена, вот как развивался ее спиритуализм, — лежит какое-то зло. И тут немощны и “цветочки” Франциска Ассизского, и Анатоль Франс, и Ренан.

“Человека задавило”, и не хочу слушать “Подражание Фомы Кемпийского”.

ТРИ ГОРОСКОПА

Есть ли связь планеты с обитающим ее человеком? И вообще — “о чем горит солнышко?”... “Что там в звездах?” Шепчут ли звезды? Или они только тупо и пусто, как пустые горшки, движутся, по Копернику?

Об этом говорили гороскопы. “Глупое знание древности”, на которое при новой науке не обращается никакого внимания. Но “новая наука” даже за месяцы только не предрекала и теперешней войны. И, словом, “savoir pour p̄voir” Конта — именно в контизме его, именно в позитивизме, как-то плоско расшиблось...

Что же такое “гороскопы”? Что такое они? Демон? Бог? Но и христиане, по крайней мере на деревнях, “верят в судьбу”. Т. е. верят в тайную власть звезд. И вот поразительно, что никто из историков не обратил внимания на три поразительные “гороскопа” и, значит, “веления звезд” — уже *исполнившиеся*, и — как мы эти три гороскопа уже знаем из истории, и как историки о них самым подробным образом рассказывают. Громко. Отчетливо. Во услышание целого мира.

Один гороскоп — Иисуса Христа.

Другой гороскоп — Апостола Петра.

Третий гороскоп — Константина Великого.

Один был распят.

Другой — распят же, но головою книзу.

Третий — Константин Великий — казнил сына, по подозрению в связи его с мачехой Фаустою. Этот сын был Крисп. А самую жену, очевидно любимую, он сжег в раскаленной бане.

Достоевский в одном месте замечает, что “планета не пощадила Создателя своего”... О, о, о... Что же *зла — земля?* Но он сам говорит о “земле белой”, о земле “благой”. Не он ли сказал и “Святая Русь”? Ведь это — тоже планета, часть планеты. Нет, уж если что, то сама планета — бела, хороша. И мы в нее должны поверить. Ну, так, — просто поверить. И вот эта нами “веримая” планета (по Достоевскому) сложила о *Нем* и о *них* такие ужасающие, в истории *беспримерные, ледящие душу* гороскопы...

О, стоны...

Стоны, стоны, стоны...

Но, — которые так совпадают со страхом евреев “переменить туфлю”.

Но как содержится в этом ревуций подобно Мальштрему, — величайший океанический водоворот, — рев Апокалипсиса:

— Они называют себя “Апостолами”, а на самом деле — исчадия Сатаны. И говорят: “Церкви”, а на самом деле — это сборища бесовские...

О, о, о...

Ужасы, ужасы...

Ноумены планеты.

“И поколебались *основания земли*” (Евангелие о моменте распятия Христа)...

“И сошел — в *Преисподнюю*”. ... Ужасы, ужасы...

Как разбита планета. И где же, земля, твои осколки?

Гороскопы, гороскопы, гороскопы. О, как ужасны их предсказания. Неужели это шепот звезд? Бегите, историки, — зажимайте уши.

“Блаженны уши, которые ничего из человеческой истории не слышали”.

О СТРАСТЯХ МИРА

Здесьняя земная жизнь — уже таит корни неземной. Как и сказано:

Есть упоение в *бою*...

Это — Марс и Арей, *божества* Марса и Арея; они — как *боги*.

И бездны мрачной *на краю*,
И в *бушеваньи урагана*.
И в *дуновении чумы*...
Бессмертья, может быть, залог.

Какая мысль, — какая мысль, *инстинктом*, — скользнула у Пушкина! Именно — “залог бессмертия и *вечной жизни*”. Это — “айд” и “элизий” древности: и как мы не поверим им и их *реальности*, раз у христианина — Пушкина, у стихотворца — Пушкина, ничего о древних в минуту написания стихотворения не думавшего, вдруг и неожиданно, вдруг и невольно, вдруг и неодолимо, — скользнула мысль к грекам, к римлянам, к тартару и мыслям Гезиода и Гомера...

* * *

Также мне ничего не приходило в голову при виде гусеницы, куколки и бабочки, которых я видал, с одной стороны, — одним существом; но, с другой стороны, — столь же выразительно, столь же ярко, и — **не одним**.

Тогда войдя к друзьям, бывшим у меня в гостях, Каптереву и Флоренскому, естественнику и священнику, я спросил их:

Господа, в гусенице, куколке и бабочке — которое же **я** их?

Т. е. “я” как бы одна буква, одно сияние, один луч.

“Я” и “точка” и “ничего”.

Каптерев молчал. Флоренский же, подумав, сказал: “Конечно, бабочка есть энтелехия гусеницы и куколки”.

“Энтелехия” есть термин Аристотеля, и — один из знаменитейших терминов им самим придуманный и филологически составленный. Один средневековый схоласт прозакладывал черту душу, только чтобы хотя в сновидении он объяснил ему, что в точности Аристотель разумел под “энтелехией”. Но, между прочим и Другим, у Аристотеля есть выражение, что “душа есть *энтелехия* тела”. Тогда сразу определилось для меня — из ответа Флоренского (да и что иначе мог ответить Флоренский, как не — это именно?), что “бабочка” есть *на самом деле*, тайно и метафизически, душа гусеницы и куколки.

Так произошло это, космогонически — потрясающее, открытие. Мы, можно сказать, втроем *открыли* душу насекомых, раньше, чем открыли и *доказали* ее — у человека.

Сейчас — давай рассматривать, “что же она делает?”

“Собирает нектар”, “копается в цветах”. Это подозрительно и *осудительно*. Но, в самом деле: у бабочки — совершенно нет **рта**, нет — ничего для питья и для принятия твердой пищи. Каптерев сейчас же сказал, как натуралист: “у *них* (он не сказал — у *всех*) — нет кишечника (я читал где-то, что, кажется, — иногда, “не бывает кишечника”): значит это — что *нет и желудка?* Конечно! Что за странное... существо, бытие? “Не питающееся”. Да долго ли они живут? Есть “мухи-поденки”. Но, во всяком случае — они, и уже бесспорно *все*, — *совокупляются*. Значит, “мир будущего века”, по преимуществу, определяется как “совокупление”: и тогда проливается свет на его неодолимость, на его — ненасытимость и, “увы” или “не *увы*”, — на его “священство”, что оно — “таинство” (таинство — брака). Открытий — чем дальше, тем — больше. Но явно, что у насекомых, коров, везде, — в животном и растительном мире, а вовсе не у человека одного, — оно есть “таинство, небесное и святое”. И именно в центральной его точке — *в совокуплении*. Тогда понятна “застенчивость половых органов”: это — “жизнь будущего века”, входим через это “в загробную жизнь”, “в жизнь будущего века”.

И, странно: тогда понятно *наслаждение*. “Эдем, блаженство”. Но — и более: обратимся к “нектару цветов”. Действительно, поразительно то особенно, что насекомые (не одни бабочки, но и жуки, “бронзовики”, “Божии коровки”) копаются *в громадных относительно себя* половых органах деревьев, и особенно — кустов, роз и проч. олеандров и т. п., орхидей. *Чем цветы представляются для бабочек?* Вот бы что надо понять и *что понять* — *ноуменально необходимо*. Не невозможно, что для каждого насекомого — “дерево и цветок”, “сад и цветы” — представляются “раем”... Да *так* ведь и есть: “лето, тепло; и — Солнце”, в лучи которого они влетают; а с цветов — “собирают нектар”. Тогда нельзя не представить себе “соединение нектара и души”, и что “душа — для нектара”, а “нектар — для души”. В-третьих — миф: “боги *на Олимпе* питаются нектаром и амброзией”. Но и раньше мифа и параллельно ему: сколько света проливается в то, “почему же цветы пахнут”, и отчего же у растений цветы такие огромные, что в них — “влезть целому насекомому”. Совершенно явно: *величина* цветов — именно чтобы насекомому войти *всему*. Тогда понятно, что “растения слышат и думают” (сказки древности), да и вообще понятно, что они — “с душою”!! О, *какою* еще... Но вот что еще интереснее: что “сад”, вообще всякий сад, “наш и земной”, есть немножко и *не* “наш” и *не* “земной”, а тоже — “будущего”, “загробного века”. Тогда понятно — “зима и лето”, ибо *из зимы и через зиму*, пролежав зиму “в

земле”, зернышко “встает из гроба”. В сущности, по закону — как и “куколка” бабочки.

Таким образом, “наши поля” суть “загробные поля”, “загробные нивы”. Тогда, конечно:

Когда *волнуется желтеющая нива*

.....

То в небесах *я вижу Бога.*

.....

Вообще понятно — особенное и волнующее чувство, испытываемое человеком в саду, испытываемое нами в поле, испытываемое нами в лесу, и — *рационалистически никак не объяснимое*. Понятно, почему “Антей, прикасаясь к матери-земле, опять восстанавливается в силах”. В “древности” вообще тогда очень многое объясняется: как равно у Достоевского его знаменитая, потрясающая, стоящая всего “язычника-Гете” фраза: “Бог взял семена *из миров иных* и посеял на землю. И взросло все, что могло взрасти. Но *все на земле живет через таинственное касание мирам иным*”. Тут — **все** язычество уже. Уже, напр., весь Египет, храмы коего — суть прямо рощи, колонны-деревья, непременно — деревья, с “капителями-цветами”. Да и каждый-то наш “сад” есть “таинственный храм”, и не только “посидеть в нем — поздороветь”, но и “посидеть — помолиться”. Да и понятны тогда “священные рощи древности”, понятна — “тишь вечера в лесу”, понятна вообще “природа как святая”, а — не “одно богословие святое”. Но вернемся еще к страстям и огню.

Таинственно через них и “оргии” действительно проглядывает “жизнь будущего века”. Ведь посмотрите, как подозрительно и *осудительно* ласкаются мотыльки с цветами. Действительно — нельзя не осудить. Но... “жизнь будущего века”, и... что подделаешь. Тогда понятно, откуда и почему возникли все “оргии древности”; и что “без оргий не было древних религий”. Вспомнишь “нектар и амброзию” Олимпа; и как на рисунках, не смея словами, — я объяснил в “Восточных мотивах” египетские мистерии. Просматривая теперь в коллекции монет — монеты всевозможных стран с такими же точь-в-точь изображениями, — я уже смотрел на них с родством и немим пониманием: невысказанно и безмолвно, как я же в “Восточных мотивах”, древние передали на них любимые свои “мистерии”, о которых они о всех и всё знали, но никто ни единым словом не обмолвился, как “о жизни будущего века”, о которой *в этой земной жизни навсегда должно быть сохранено молчание*.

Но... Так вот откуда — “наши страсти”!?!? Эти поистине “протуберанцы солнца” (факелы, извержения из тела солнца). Да уж и солнце не в “страстях” ли? Поистине, “и на солнце есть — пятна”. Один Христос без-пятнист. А наше солнышко — с “грешком”, горит и греет, горит и греет; горит — и вот “по весне”, когда его — “больше”, когда оно не только греет, но и начинает — горячить: тогда животные все забеременевают. Сила солнца, “грешок” солнца — переходит в животных. Все — тучнеет, животы у всего — разрастаются. Сама земля — просит зерна... И вот — Деметра, вот — Гея, и опять — “Волнующая нива”, которая “вздымает грудь к молитве”. Что же: сказать христианству, что это — “неправда”? И что в одних духовных академиях — богословие? Но гораздо более богословия в подымающемся быке на корову... И вообще:

Весна идет, весна идет,
Везде идет зеленый гул

это — язычество, которое *истинно*: это —

Апис и Серапеум.

Каптерев задумался и сказал: “Открыто наблюдениями, что в гусенице, обвившейся коконом, и которая кажется — умершею, начинается *после этого действительно перестраивание тканей тела*. Так что она не мнимо умирает, но — действительно умирает... Только на месте умершей гусеницы начинает становиться что-то другое; но — именно этой определенной гусеницы, как бы гусеницы-лица, как бы с фамилиею и именем: ибо из всякой гусеницы, *сюда положенной*, выйдет — *вон та бабочка*. А если вы гусеницу эту проткнете, напр., булавкою, тогда и бабочки из нее не выйдет, ничего не выйдет, и гроб останется гробом, а тело — не воскреснет”. Тогда-то, тогда мне стало понятно, почему феллахи (потомки древних египтян, явно сохранившие всю их веру) плакали и стреляли из ружей в европейцев, когда те перевозили мумии, извлеченные из пирамид и из царских могил. Они, эти нигилисты, заживо умершие и протухшие, не понимая ни жизни, ни смерти, “нарушили целостность тела их (феллахов) предков” и тем лишили их “воскресения”. Они, о чем предупредил Каптерев, как бы “разломали мумии пополам”, или, все равно — пронзили иголкою “куколку”, после чего она приобщается *смерти без бытия*. Тогда мысль, что “бабочка есть душа гусеницы”, “энтелехия гусеницы” (Флоренский) — еще более утвердилась у меня: а главное — мне разъяснилось и *доказалось*, что египтяне в мышлении и открытиях “загробного существования” шли тем же путем, как я, т. е. “через бабочку” и ее “фазы”. Что это и для них был путь открытий и “откровений”, да ведь и вообще это — *истинно*. Тогда для меня ясны стали саркофаги — мумии. Кто видал их в нижнем этаже Эрмитажа, тот не мог не поразиться раньше всего — **величиною**. Зачем — такой **большой**, огромный саркофаг — для мумии умершего, вовсе не большой? Но ведь это — “кокон” куколки-человека; и строился саркофаг непременно и именно по образцу кокона. Вот такой же продолговато-гладкий, как решительно всякий кокон, какой, безусловно, строит себе всякая гусеница — и египтянин себе изготовлял, “оукливаясь”. И тело клалось — в пелены, “завертывалось”, как гусеница, напр., шелковичного червя, прямо “выпуская из себя” шелковые нити, прямо делает себе “шелковую рубашечку”.

Поверх этого жесткая, коричневая скорлупа. Это — саркофаг, всегда коричневатого однообразного тона. Кажется, он гипсовый, и тогда он и по материалу естества сходен с оболочкою куколки, ибо что-то вроде извести, как выпота, дает и тело гусеницы. Вообще, ритуал погребения у египтян вышел из подражания именно фазам оукливающейся гусеницы. А главное — отсюда скарабей-жук-насекомое, как “символ перехода в будущую, загробную жизнь”. Это знаменитейшее из божеств Египта, можно сказать, — самое великое их божество. Почему — насекомое? Но — *тот же путь*, как и у меня, рассуждения. Главное, самое главное, что египтяне открыли, — это “насекомообразную будущую жизнь”. И увековечили, что — именно *отсюда они ее открыли* — насекомыми, скарабеем. Это — благороднейшая память, т. е. воспоминание и благодарящая память за свою родную историю, и чем, главным образом, был полон смысл их истории. Отсюда уже множество объяснений,

напр., почему во время “пиршеств” и особенно во время “домашних пирушек” — любили они “проносить мумии”. Это — не печаль, не страх, не угроза. Не “окаянная угроза христиан смертью”, — могущая прекратить всякую радость. Напротив, напротив: это — радость обещания вечной жизни и *радости этой жизни, ее воздушности, ее прелести*. “Мы теперь радуемся еще не совершенно”, “мы — в пире, но еще не полном”. “Лишь когда все кончится — мы войдем в полную любовь, в совершенный пир, с яствами, с питьями. Но вино наше будет неистошимо, и питья наши — сладостнее всех здешних, потому что это будет чистая любовь, и материальная же, вещественная, но уже как бы из одних лучей солнца, из света и пахучести и эссенции загробных цветов. Потому что уж если где **цветы**, то — за « **гробом**”.

Небесные розы! небесные розы!! — и египтяне вносили мумию.

№ 10

СОЛНЦЕ

Попробуйте распять солнце,
И вы увидите — который Бог.

КОРЕНЬ ВЕЩЕЙ

Мы поклонились религии несчастья.
Дивно ли, что мы так несчастны.

ДРЕВНОСТЬ И ХРИСТИАНСТВО

Ярко солнышко встало.
Ярче кровь забежала.
Жилушки напряглись.
— **Хочется работать!**

(язычество).

Пасмурно небо...
Сон клонит к земле...
Выспаться бы?
Не выспаться ли?

Все можно. Но можно как-нибудь и “обойтись”. Тут запасено “покаяние”. И в расчете на него можно и “погодить”

(христианство).

ДОМОСТРОЙ

“Вот когда я *умру*, он закроет *мне глаза*”, мне “*и — матери своей*”, — говорит отец при рождении первого сына — мальчика. Это и есть “Домострой”, великая идея которого, замечательно, ни разу не пробудилась в русской литературе XIX, да и XVIII века, но которая была в Москве, и дал эту идею поп Сильвестр, друг Грозного, — друг и *наставник*.

Великий, *прекрасный* наставник.

Одна идея “Домостроя”, **Домо-стройка**, есть уже великая, священная. Самое слово как прекрасно по изобретательности, по тому, как “составилось в уме”, и, составившись, выговорилось филологически.

Несомненно, самый великий “Домострой” дан Моисеем в “Исходе”, во “Второзаконии” и т. д. и продолжен в Талмуде, и затем фактически выражен и переведен в жизнь в кагале. Талмуд (конечно, в Вавилонской его редакции — “Бавли”) и кагал — две вещи, совершенно не понятые в Европе и европейцами. Кагал есть великолепная “city”, “la cité”, “коммуна”, где люди живут рядышком, в теплоте и тесноте, помогая друг другу, друг о друге заботясь “как один человек”, и поистине — одна святыня. Это — та естественная и необходимая социализация, которую потеряв, человечество вернулось к искусственному, дрянному, враждебному и враждующему со всеми “социализму”. Социализм есть продукт исчезновения Домо-строения и кагала. Невозможно человеку жить “одному”, он погибнет; или он может погибнуть; или испытать страх погибнуть. Естественное качество кагала — не давать отделяться от себя, вражда к тому, кто отделился (судьба Спинозы в Амстердаме и “херема” над ним)... Херем и был совершенно справедлив, потому что “община” важнее личности, пусть даже эта личность будет Сократ или Спиноза. Тем более что общине совершенно неизвестно, отделяется ли *сейчас* от нее Сократ или Спиноза, или — обычный нелюдим, хулиган.

Община — это слишком важно. Если — хулиган, ну даже талантливый или гениальный хулиган, разрушит ее, — то ведь “все погибнут”. А “все” — это слишком много. “Если ты жалеешь *одного*, как же ты не задумаешься надо всеми?”

И евреи, впадшие в такое ужасное одиночество после Христа, с враждебностью всего мира против них, зажили “кагалом”. “Единственное спасение для нас”.

Но и вообще и в частности, без отношения к Христу и без отношения к евреям, — “кагал” есть естественно-социальная форма жизни всех людей. Несомненно, что “кагалами”, т. е. “уличками”, “общинами”, жили финикияне и карфагеняне. Даже у римлян что такое их “трибы” и “курии”? Кагалы. И — в Аттике, и даже в Спарте. “Кагал” есть яйцо курицы или, еще вернее, — это есть курица с выводком. Это есть “тривиум” и “квадривиум” средневековой жизни. “Римская империя (всемирность) пала, будем жить тривиум и квадривиум”. “Свой уличный суд”, “свой околодок”, “свой соседи”. И — не дальше, не грешнее.

“Дальше” — империя, папство и грех.

В этом отношении или, вернее, в этом направлении “коммуны” 60-х годов у нас были совершенно правильны. “Будем жить *по-своему*”, а “до прочих людей нам *дела нет*”. Отлично.

Вот для таких-то крошечных общинок и нужны “домострой”, сперва маленькие и узенькие, а потом и обширнее. Но я думаю — “обширнее”, *не очень*. “Всемирность” решительно чепуха, всемирность — зло. Это помесь властолюбия одних и рабства других. Зачем это? “Книга судей израилевых”, с Руфью, с Иовом, свободная, нестесненная, мне казалась всегда высшим типом

человеческого проживания. Она неизмеримо выше и *счастливее* царств. А “счастье” есть поистине “кое-что” для человечества. От вздоха по счастью человек никогда не откажется. Бедный человек. Поллюбим именно бедного человека. Бог воистину возлюбил бедного человека. Не нужно богатства. Это — лишнее.

Итак, “бедный человек” возлюбил свое “гетто”, в нем греется, им защищается, и, ей-ей, это выше Сократа и Спинозы. *Потому что это священнее Сократа и Спинозы.* Тут Бог уютится. В гнездышке. Потому что гнездышко — оно такое священно, которого ищет и сам Бог. Не спорю: есть Бог Универзуса. Но мне как-то более нравится “Бог гнездышка”.

И вот я думаю — евреи во всем правы. Они правы против Европы, цивилизации и цивилизаций. Европейская цивилизация слишком раздвинулась по периферии, исполнилась пустотами внутри, стала воистину “опустошенной” и от этого погибает. Кому она нужна? Кого греет? Самые молитвы ее пусты, эти “протестантские молитвы”, эти “католические молитвы”. Эти “православные молитвы”. Слишком обширно. А где обширно, там и холодно. “Где же нагреть такой храм?” В храме св. Петра — только мерзнуть. Как лучше его маленькие церковки в Ярославле и вообще по Поволжью.

Живите, евреи. Я благословляю вас во всем, как было время отступничества (пора Бейлиса несчастная), когда проклинал во всем. На самом же деле в вас, конечно, “цимес” всемирной истории: т. е. есть такое “зернышко” мира, которое — “мы сохранили одни”. *Им* живите. И я верю, “о *них* благословятся все народы”. — Я нисколько не верю во вражду евреев ко всем народам. В темноте, в ночи, не знаем — я часто наблюдал удивительную, рачительную любовь евреев к русскому человеку и к русской земле.

Да будет благословен еврей.

Да будет благословен и русский.

ХРИСТОС МЕЖДУ ДВУХ РАЗБОЙНИКОВ

Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В простоте твоей смиренной.

.....

Удрученный ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В *рабском виде* Царь Небесный
Исходил *благословляя.*

Хороши стихи. И счастливо было пропеть их. Но каково-то в *самом деле*, в самой *вещи и реальности* было “проходить”, и *века* проходить и *пронести* в таком виде и положении “рабском” русскому народу, целым губерниям

.....

Ой, ой, ой

“— Горяченького кофейку! Ах бы горяченького кофейку, барин Федор Иванович”.

И Некрасов будто аукнулся столь же знаменитым, но уже воистину *разбойничьим* стихом:

“— Холодно, странничек, холодно”.

“— Голодно, странничек, голодно...”

Так и видишь двух побродяг. Ужасных, лукавых, хищных. Это уже вся наша революция с ее “реквизициями” банков или из банков, с “красной гвардией” из разных оборванцев, “получающих” (т. е. “назначивших себе”) в жалованье 25 руб. суточных, “потому, брат —

Холодно, странничек, холодно...
Голодно, странничек, голодно...”

И не каждую неделю, месяц и год придется “сыграть такую революцию” или “сорвать такую революцию”.

Великое умиление...
Великий разбой...

Т. е. в стихах двух поэтов. Оба как “хлестнули крест-накрест” поперек. И плети вонзились... в тело всего человечества. Там — правда, здесь — правда. Все — ужасная реальность, — о, какая реальность...

И висеть, висеть Христу, неизбежно висеть между *этими* двумя разбойниками, именно — этими, никакими — еще:

“— Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое”.

— Другой же хулил Его, говоря: “Избавь Себя и нас”.

И человечество... но где же быть *цивилизации* в двух этих воплях, между этим умилением и этим разбоем: где тут *зерно* для развития, для жизни? Зерна — нет, а две судороги.

А ведь цивилизация — это *рост*... Видите ли вы синие волны Средиземного моря, и Адриатику, Рим и Египет.

Полно.
Солнце
Счастье

О, не надо христианства. Не надо, не надо... Ужасы, ужасы.

Господи Иисусе. Зачем Ты пришел смутить землю? Смутить и отчаять?

КАК ПАДАЛА И УПАЛА РОССИЯ

Нобель — угрюмый, тяжелый швед, и который выговаривает в течение трех часов не более трех слов (видел в заседании Совета товарищества “Новое Время”), скупал и скупил в России все нефтеносные земли. Открылись на Ухте (Урал) такие же — он и их купил и *закрыл*. “Чтобы не было конкуренции наследникам”.

Русские всё зевали. Русские всё клевали.

Были у них Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. И проснулись они. И основали Художественный театр. Да такой, что когда приехали на гастроли в Берлин, — то засыпали его венками. В фойе его я видел эти венки. Нет счета. Вся красота.

И записали о Художественном театре. Писали столько, что в редкой газете не было. И такая, где “не было” — она считалась уже невежественною.

О Нобеле никто не писал.

Станиславский был так красив, что и я загляделся. Он был естественный король во всяком царстве, и всех королевских тронов на него не хватило бы. Немирович же был так умен, что мог у лучшего короля служить в министрах (обоих видел у барона Н. В. Дризена).

СОВЕТ ЮНОШЕСТВУ

Кто есть кормилец твой, — кто прокормляет тебя, питает, — и после Бога и родителей есть “все для тебя” — тому не лукаво отдай всю душу свою. Думай о пользе его, — не о *своей* пользе, а — *его, его, его...* ежечасно, ежедневно, ежегодно, всегодно. Сложи в душе своей, что и после смерти его ты должен не забывать его, а молиться о душе его и вечном спасении. И никогда, ни одним словом... нет, я говорю глупости: *ни одну мысль в собственной душе*, не осуди его даже и самые *его недостатки*, так как нет человека без недостатков. Но именно — *ему, ему*, который питает тебя, ты должен все простить, во всем в *душе своей* постараться оправдать его, забыть, обелить. Ни в чем не умалить — именно в *душе, в душе, в совести*.

Помни: Небо как и земля. И открытое Небу — открывается “в шепотах” и земле. В шепотах, сновидениях и предчувствиях. Поэтому никогда, никогда, никогда не лги, в совести-то, в *главном* — не лги.

Не будь хулиганом, — о, не будь хулиганом, миленький.

И вот этот *совет мой тебе* — есть первый социологический совет, какой ты читаешь в книжках. Первый совет “о социальной связности”. Тебе раньше все предлагали на разбой и плутовство. “Обмани кормильца”, “возненавидь кормильца”. И советовали тебе плуты и дураки: которые отлично “устраивались около общества”, т. е. тоже *около кормильца своего* (читатели). А тебе, несчастному читателю, глупому российскому читателю, — подсовывали нож. И

ты — нищел, они — богатели (плутяга Некрасов и его знаменитая “Песня Еремушке”).

* * *

Ни от кого нищеты духовной и карманно-русского юношества не пошло столько, как от Некрасова. Это — диссоциальные писатели, антисоциальные. “Все — себе, читателю — ничего”. Но ты, читатель, будь крепок духом. Стой на своих ногах, а не

Что ему книжка последняя скажет,
То на душе его *сверху* и ляжет (Некр.).

И помни: жизнь есть *дом*. А дом должен быть тепел, удобен и кругл. Работай над “круглым домом”, и Бог тебя не оставит на небесах. Он не забудет птички, которая вьет

гнездо.